ДЕЛО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ

SHOUT
SHARE
IT

-
- Татьяна Свичкарь
  - Предисловие
  - Истоки
  - Тетя Поля
  - Родители
  - Война
  - Астрахань
  - Сахалин
  - Мединститут
  - Жигулевск
  - Семья
  - Олег
  - Дело человеческое
  - Обыкновенное чудо

Татьяна Свичкарь
Дело человеческое

Мне порой наш доктор, вооруженный термометром и стетоскопом, по сердцу ближе и опытом своим, и остротою ума, и наблюдательностью, и ясностью мысли, а главное — человечностью. Да, да, рентген, лаборатории — все так, все верно, но человеку хочется доверять больше, чем технике. И дело наше с вами человеческое, это непременно надо понимать.

Ю. Герман «Дело, которому ты служишь»

Предисловие

Самое замечательное в журналистской работе то, что она дает возможность встречаться с интереснейшими людьми. За рутиной каждодневного труда — сбором информаций, отчетов из учреждений — преобразованием их в газетные материалы, вдруг дарит судьба такие встречи, которые уже не забудутся. Я не имею в виду известных личностей, имена которых у всех на слуху.

Каскадер и наездник Мухтарбек Кантемиров говорил о любителях ходить за знаменитостями:

— Есть такие дурачки — им только дай возле «звезды» погреться…

И пожимал плечами — «мол, а зачем греться — они и сами не знают».

В работе своей «официальных звезд» я невольно сторонилась. Но жизнь давала иные встречи — когда с неожиданною радостью, с душевным восхищением обнаруживаешь, открываешь рядом с собою поистине замечательного человека.

Жизнь в провинции имеет свои особенности. В молодости рвешься уехать отсюда, где все кажется знакомым до оскомины. Манят большие города, иные страны — маленькому кораблю хочется на простор, пережить ветры и шторма, немыслимые в тихой гавани. Но тот, кто остается верен земле своей, понемногу срастается с нею. Это трудно объяснить, это приходит с годами. Ты чувствуешь, что уже весь городок для тебя — как дом, как душа.

Будто в твоем саду — зацвели в городском парке первые робкие цветы мать-и-мачехи, тебе — плещут зелеными волнами листья берез, знакомых с детства, учительница, что встречается на улице, помнит тебя ребенком — и радуется, что подрастают уже твои дети.

Это дает особенное ощущение подлинного родства — и с природою, и с людьми.

Провинциальная жизнь. В воспоминаниях Вересаева есть строки, посвященные отцу, тульскому врачу: «Когда мне приходилось читать статьи и повести о засасывающей тине провинциальной жизни, о гибели в ней выдающихся умов и талантов, мне всегда вспоминался отец: отчего же он не погиб, отчего не опустился до обывательщины, до выпивок и карт в клубе? Отчего до конца дней сохранил свою живую душу во всей красоте ее серьезного отношения к жизни и глубокого благородства?»

И далее: С тех пор, как я себя помню, отец жил частной

врачебной практикой. Считался одним из лучших тульских врачей, практика была огромная, очень много было бесплатной: отец никому не отказывал, шел по первому зову и очень был популярен среди тульской бедноты. Когда приходилось с ним идти по бедняцким улицам — Серебрянке, Мотякинской и подобным, — ему радостно и низко кланялись у своих убогих домишек мастеровые с зеленоватыми лицами и истощенные женщины. Хотелось, когда вырастешь, быть таким же, чтобы так же все любили.

Часто по ночам звонили звонки, он уезжал на час, на два к экстренному больному.

И вспоминается тут обязательно старый доктор Орещенков из «Ракового корпуса» Солженицына. В середине 50-х годов века двадцатого говорил он: «Мы потеряли семейного доктора! Это самая нужная фигура в жизни, а её докорчевали. Поиск врача бывает так интимен, как поиск мужа-жены. Но даже жену хорошую легче найти, чем в наше время такого врача.

Что значит „бесплатность“? — платит не пациент, а народный бюджет, но он из тех же пациентов. Это лечение не бесплатное, а обезличенное. Сейчас не знаешь, сколько б заплатил за душевный приём, а везде — график, норма выработки, следующий! Да и за чем ходят? — за справкой, за освобождением, за ВТЭКом, а врач должен разоблачать. Больной и врач как враги — разве это медицина?

Да и то вот в вашей клинике: почему два хирурга оперируют, а трое в рот им смотрят? Потому что зарплата им идёт, о чём беспокоиться? А если б деньги от пациентов да ни один пациент бы к ним не пошёл… Врач должен зависеть от впечатления, производимого им на больных. От своей популярности».

И о самом докторе Орещенкове: «Именно правом частной практики он в своей деятельности дорожил более всего. Без этой гравированной дощечки на двери он жил как будто нелегально, как будто под чужим именем. Он принципиально не защищал ни кандидатской, ни докторской диссертаций, говоря, что диссертация ничуть не свидетельствует об успехах ежедневного лечения, что больному даже стеснительно, если его врач — профессор, а за время, потраченное на диссертацию, лучше подхватить лишнее направление. Только в здешнем мединституте за тридцать лет Орещенков переработал и в терапевтической клинике, и в детской, и в хирургической, и в инфекционной, и в урологической и даже в глазной, и лишь после этого всего стал рентгенологом и онкологом. Пожимкой губ, всего лишь миллиметровой, выражал он своё мнение о „заслуженных деятелях науки“. Он так высказывался, что если человека при

жизни назвали деятелем, да ещё заслуженным, — то это его конец: слава, которая уже мешает лечить, как слишком пышная одежда мешает двигаться. „Заслуженный деятель“ идёт со свитой — и лишён права ошибиться, лишён права чего-нибудь не знать, даже лишён права задуматься; он может быть пресыщен, вял, или отстал и скрывает это — а все ждут от него непременно чудес.

Так, вот ничего этого не хотел себе Орещенков, а только медной дощечки на двери и звонка, доступного прохожему».

И счастье, если мы находим в жизни такого врача — со «звонком, доступном прохожему», с отношением не безразличным, не обезличенным, но с готовностью отвечать на наши вопросы, но с заинтересованностью в лечении, но с борьбою за то, чтобы мы выжили, выздоровели.

Как правило, такого врача мы обретаем в трудную минуту жизни.

С Олегом Никифоровым мы учились в одной школе, он — несколькими классами старше. Уже в юности он не сомневался в том, какой путь выбрать. Его родители врачи — медициной будет заниматься и он.

Много лет спустя, я приглашала его к своей маме и детям.

К этому времени Олег Викторович уже — известнейший в Жигулевске врач, именно — народный, пользующийся тем уважительным признанием людей, тою благодарностью их — какие нельзя завоевать ни званием, ни должностью, если чины не подкреплены профессионализмом и страстною любовью к своему делу.

Я была свидетелем того, как на награждении участников городского конкурса «Признание» (Никифоров был первым из медиков, получивших эту награду) — зал устроил ему овацию. Причем овация эта была своего рода замечательная. Она никак не могла смолкнуть, будто рукоплесканиями люди говорили то, что не всегда имели время и возможность сказать: «Любим! Помним то, что вы для нас сделали. Благодарим!»

Не знаю, суждено ли будет сбыться замыслу — написать книгу о самом Олеге Никифорове. В краткие минуты общения — происходило это, когда шла перевязка, или кто-то из моих близких лежал под капельницей, задерживаться он не мог — его всегда ждали пациенты — лишь отдельными фразами рассказывал он о своей работе. Говорить о себе ему явно было неловко.

— Вот моя мама, — повторял он, — Делала уникальные операции, пятьдесят лет была врачом. Пообщайтесь сначала с ней.

А потом была встреча с Лидией Николаевной Никифоровой. Несколько вечеров мы провели вместе. Стояло сумасшедшее жаркое лето, плавился асфальт, и дышать было тяжело. Когда солнце начинало клониться к закату, я выходила встречать Лидию Николаевну, издали замечая ее — идущую легко, будто летящую, хотя был на исходе для нее тогда 79-й год.

Судьба Лидии Николаевны оказалась замечательной не только во врачебном, но и в человеческом отношении. В этой документальной повести я постаралась сохранить ее речь, чтобы у читателей сложилось впечатление живого общения с нею, чтобы и им было дано «встретиться» с ней.

Истоки

…Город Царицын считается в 350 верстах от Саратова; он лежит на правом берегу на холме; он невелик и имеет форму параллелограмма с 6 деревянными укреплениями и башнями. Живут в нем одни лишь стрельцы, которых здесь было 400; они должны были бдительно следить за татарами и казаками…

Адам Олеарий

Основанный в конце 16 века, Царицын был построен как крепость для защиты южных рубежей Российского государства. Первоначально он размещался на острове Голодный, но тут его постоянно затапливал весенний паводок, и в конце концов город был перенесен в пойму реки Царица. (цагы ца, что в переводе с тюркского означает «мутная вода», либо, по другой версии, сары чин — «золотой песок»). После необходимость в крепости отпала, и Царицын развивался как типичный уездный город.

Отсюда и пошел род Косицыных.

Вспоминает Лидия Николаевна:

— Рядом с Царицыным жили мои дедушка и бабушка. Дедушка, Кузьма Константинович, обладал очень красивым почерком. К нему нередко обращались, чтобы помог составить прошение к царю. Женившись на Прасковье Федоровне, дедушка почти тотчас по призыву был послан в Астрахань — служить казаком. Он взял котомочку, бабушка — узелок, и они отправились.

В Астрахани у молодой четы не было ни родных, ни знакомых. Кузьму Константиновича тут же забрали в часть, а Прасковью Федоровну пригласил остановиться у себя генерал, эту часть возглавлявший. Его супруге приглянулась Параша — ей было предложено место горничной.

Через несколько дней Кузьма Константинович решил посмотреть, как устроилась жена, и попросил увольнительную. А генералу так понравилась юная Параша, что он не давал ей

прохода. И в тот самый момент, когда молодая женщина накрывала на стол, а генерал стремился так или иначе ее поцеловать — на пороге встал законный супруг.

Кузьма Константинович молча наблюдал. Посреди комнаты огромный стол, Параша метнется в одну сторону — генерал за ней, она в другую — и он туда же.

— Марш отсюда! — только и сказал казак жене.

Своему командиру он ничего выговорить не мог, но Парашу немедленно увез. Да еще и отругал порядочно, чтобы впредь не смела давать повода для хозяйских забав.

Когда служба была окончена, Косицыны обосновались в Царицыне. Один за другим пошли дети — четверо сыновей, две дочери… Жили на квартирах, но хозяева то и дело отказывали многодетной семье — малыши плачут, болеют… Неудобных жильцов просили съехать. Хозяева вздыхали: «Были б вы без детей!»

Кузьма Константинович еще до армии начал работать счетоводом, и оказался в этой области настолько талантлив, что, в конце концов, сделался главным бухгалтером у предпринимателя Войкова, владельца маслозавода. О нем шла добрая слава — своих работников он обеспечивал одеждой, тем, кто женился — помогал справить свадьбу, построить дом.

Устроившись на новое место, Кузьма Константинович также немедленно занялся строительством — причем дома возвел два. Один — для своей семьи, в другом — поселил стариков-родителей, чтобы удобнее было о них заботиться.

Годы спустя Войков подозвал дедушку и показал запись его долгов.

— Кузьма Константинович, видите — я ставлю на этом крест. Ничего не должны вы мне больше. Ценю хорошую работу! Когда трудился ваш предшественник, я получал лишь одну третью часть доходов с завода. А вы — честный человек.

После революции царицынских предпринимателей и помещиков вывезли на барже на середину Волги — и расстреляли. Бабушка их по фамилиям называла, рассказывала — кто чем занимался… Их немало было… Мастера своего дела… Такие булочки пекли в Царицыне, что аромат — на весь город. Венские плюшки!

Некоторые уехали — во Францию, в Америку. А кто не успел — расстреляли всех.

Но Войков никуда не удрал — его спрятали рабочие. Он так к ним относился, что они его берегли!

Кузьма Константинович уходил на работу, едва всходило солнце. А вскоре в ставни его дома уже кнутами стучали

извозчики.

Это по дороге на маслозавод дедушка останавливал тех, кто вез товары на рынок.

— Что у вас — мука? Крупчатка? Почем? Беру…

Расплачивался и давал адрес. То было время, когда никто никого не обманывал — заказанный товар доставляли в целости. Бабушка смотрела в окно, и видела телегу, груженую мешками. А что закупал дедушка помногу — так не с сумочкой же хозяйке ходить на рынок — при такой-то семье…

Бабушка шла будить сыновей.

— Идите разгружать!

Только, недовольные ранней побудкой, мальчишки на плечах перетаскают мешки, и лягут досыпать, как вновь стук в ставни:

— Открывай, хозяйка, ворота…

Это неугомонный дедушка прислал уже телегу с арбузами, или подводу с дынями.

Хорошо, что в основательном хозяйстве имелись — и сарай во дворе, обложенный кирпичом, и большой погреб…

* * *

В Царицыне находился мужской Свято-Духов монастырь, во главе которого стоял Илиодор (Труфанов).

Для справки:

Это была зловещая фигура правого движения начала XX века. Илиодор устраивал митинги, на которые сходились значительные толпы народа; вёл крайне резкую агитацию против евреев и инородцев вообще, против интеллигенции, с призывами к погромам; постоянно нападал на высших должностных лиц на государственной и на церковной службе. Прибегая к демагогическим приёмам, говорил об интересах страдающего крестьянства.

В 1907 г. Синод запретил ему литературную деятельность, но, пользуясь покровительством различных влиятельных лиц, он не подчинился этому запрету и остался безнаказанным. С помощью Григория Распутина Илиодор нашёл покровителей в государственных сферах, но тут же начал сам бороться с влиянием Распутина. В 1908 году он, однако, был

переведён в Царицын. Здесь деятельность его, под покровительством саратовского епископа Гермогена, развернулась ещё шире.

Его проповеди принесли ему громадную популярность у части населения, в них, несомненно, проявлялись некоторые демократические стремления. Илиодор резко нападал на местную администрацию, в частности — на саратовского губернатора. Занимался исцелением больных и изгнанием бесов из кликуш и различных припадочных, что создавало ему ореол святого и чудотворца.

По благословению Григория Распутина основал в Царицыне мужской Свято-Духов монастырь. Когда в 1909 г. Синод запретил Илиодору служение, Илиодор назвал распоряжение Синода «безблагодатным и беззаконным» и продолжал служить. Синод постановил перевести Илиодора в Минск, но Илиодор не поехал, и постановление было отменено.

Саратовский губернатор Татищев в 1910 г. был переведён на службу в Петербург. В 1910 г. Илиодор за оскорбление полиции был приговорён судом к месячному аресту, но это постановление в исполнение не было приведено. В январе 1911 г. состоялось постановление Синода о переводе Илиодора в один из монастырей Тульской епархии. После двухдневного шумного протеста Илиодор подчинился постановлению Синода и выехал из Царицына, оставив около 500 000 руб. долга, сделанного им для постройки нового храма и других монастырских нужд. Через месяц Илиодор бежал из Новосильковского монастыря, вернулся в Царицын и возобновил свою деятельность.

В течение 1911 года он отправился в паломничество через поволжские города в Саров, причём толпы его поклонников совершали буйства, избиения прохожих и т. п. В январе 1912 г. состоялось, и было приведено в исполнение постановление Синода о заточении Илиодора во Флорищеву пустынь Владимирской епархии. В октябре 1912 г. Илиодор внезапно обратился с посланиями в Синод и к почитателям, в которых заявлял, что раскаивается в своей деятельности, просит прощения у евреев, отрекается от веры в православную церковь. В ответ Илиодор по постановлению Синода был расстрижен и освобождён из монастыря.

С 1914 года Илиодор жил в эмиграции. Большая

часть поклонников от него отшатнулась, и он потерял былое значение. Участвовал в левом движении, после Октябрьской революции предложил свои услуги большевикам. С 1918 г. по 1922 г. снова жил в Царицыне. Почувствовав опасность, бежал в США, где опубликовал записки о Распутине — «Святой чёрт». Умер в должности швейцара небольшой гостиницы.

Вспоминает Лидия Николаевна:

Илиодор был очень красивый, очень! Когда шла служба — в монастырь набивались юные прихожанки. И все на него смотрели.

А дедушка Кузьма Константинович был там старостой. Такой строгий! По воскресным дням, чуть свет поднимал всех своих детей, чтобы шли в монастырь Богу молиться. А им спать мечталось, в храм не хотелось до смерти…

Тогда рядом с домом была степь. А там — море цветов. Тюльпаны! Целые ковры из тюльпанов. А полевых цветов сколько росло, какой запах стоял! И дети, вместо монастыря, шли в эти тюльпаны. А потом, дома, получали хорошую порку. Дед даже в переполненном храме — своим зорким глазом сразу видел, что их нет.

В то время в Царицын часто приезжал Гришка Распутин — и все время останавливался у бабушки. Тетя Поля моя вспоминала: «У него была рыжая бородка, и он все мной интересовался. Позовет меня — я старшая, на колени посадит… Косы у меня были длинные… Один раз он снял кольцо с мизинца и надел мне на палец».

И священники из Москвы останавливались у нас — бабушка отводила лучшие комнаты, и готовила им, пока они находились, так сказать, в командировке.

А потом, когда случилась революция — Илиодор уехал с прихожанкой, которой было всего 15 лет — в Америку. И очень много золота увез, драгоценных икон…

Бабушка говорила: «Какой грех он на душу взял!».

Тетя Поля

Вспоминает Лидия Николаевна:

Тетя Поля жила со мною до самой смерти, до 93-х лет, и ее историю я знаю в чем-то подробнее и лучше, чем мамину.

Когда-то тетя была помолвлена. Дедушка нашел ей жениха — Дмитрия Михайловича. В ту пору выбрать достойного жениха или невесту было очень ответственным делом. Близкие присматривались — нет ли в роду юноши или девушки каких-нибудь заболеваний, особенно алкоголизма. Перебирали несколько поколений, и только потом решался вопрос о свадьбе. Ведь гены предков могли проявиться в потомках — из детей выросли бы пьяницы, убийцы, воры…

У нас считалось, что люди делятся на «авелистов» и «каинистов». Знаете такое деление? Это пошло еще от Адама и Евы. Сын Адама Каин убил своего брата Авеля. И у «каинистов» в роду — темные личности. Не дай Бог с ними связаться!

Приведу пример, как это было в то время важно. У тети Поли была подруга Маруся — девушка исключительной внешности. Когда проводились конкурсы красоты, она шла на них, одетая во все кружевное. Платье, шляпа из кружев… Причем все шила сама, золотые руки у нее были… И — неизменно занимала первое место. Пришло время, и Марусе представился случай сделать хорошую партию. За нею стал ухаживать Семен, железнодорожный техник. Большая должность в те годы! Образованный человек, когда многие вокруг были неграмотны…

Сама Маруся происходила из хорошей семьи — достойные родители, скромные сестры, воспитанные братья. Лишь один брат стал исключением, увлекся выпивкой. Ему было стыдно перед родителями, он уехал куда-то — и не давал о себе знать.

И вот, наконец, Семен сделал Марусе предложение. Он ей очень нравился, и она так обрадовалась! Настал момент, когда приданое было готово, и гости приглашены…

Но, буквально до последнего момента, Семен расспрашивал Марусиных подруг о семье невесты, чтобы знать все доподлинно и не связаться с «каинистами». Тетя Поля ему ничего не сказала. А другая подружка — Тоня — проговорилась о непутевом брате.

И жених пропал. Это накануне-то свадьбы! Полина — по просьбе подруги — пошла его разыскивать. Кто-то сказал, где он живет — в коттеджах за рекой.

Отыскала тетя молодого человека, и спрашивает:

— Куда же ты пропал, Семен? Ведь свадьба вот-вот….

— Полина, как ты могла скрыть?! — говорит он, — Да разве я возьму в жены такую девушку? Дети от нее могут вырасти пьяницами! Ни о какой свадьбе и речи быть не может. И пусть Маруся на меня не обижается, а винит себя, что скрыла такую вещь.

С той же тщательностью подбирали жениха и самой Полине. Наконец, появилась достойная партия. Молодой человек из мастеровых, интересный внешне, и семья степенная. Словом — то, что нужно. Дедушка с бабушкой привели жениха, устроили помолвку. Но он оказался совершенно не по душе Полине. И она перекрестилась, когда началась русско-немецкая война, и постылый суженый отправился на фронт.

— Слава Богу, избавилась!

Немногим позже в Царицын начали поступать военнопленные. И вот тогда-то Полина влюбилась. Он был австриец. Военный врач. Звали его Адам Дан.

На родине Дан жил в центре Вены. То, о чем он рассказывал, звучало как сказка для провинциальной девушки. Какие необычные правила были заведены в семье ее нового знакомого… Нельзя прийти с работы и лечь в постель, не искупавшись. Обязательно надо принять ванну. И никакими полотенцами не вытираться, а сразу надеть махровый халат, который и промокнет тело… И вообще, судя по рассказам — какая роскошь была у Адама дома! Удивительная страна — Австрия, прекрасна жизнь там…

Адам тоже влюбился в Полину, и начались свидания. Тайные, чтобы строгий дедушка ничего не узнал. Но Кузьме Константиновичу донесли, что дочь его встречается с военнопленным. Дедушка немедленно посадил Полину в сарай, повесил замок и сказал:

— Будешь сидеть тут, пока не образумишься.

Но как было юной девушке отказаться от любви такого необыкновенного человека, как Адам? Он привил Полине страсть к симфонической музыке — водил ее в Народный сад слушать оркестр. И теперь — свидание назначено, Адам ждет, как рассказать ему о заточении, в которое она попала?

Полина написала записку и отдала ее младшей сестре:

— Маруся, отнеси!

Эта встреча не прошла бесследно. Маруся через всю жизнь пронесла любовь к Адаму.

До самой кончины, до 93 лет, тетя Поля любила вспоминать о

своем чувстве.

— Уже после нашей разлуки, — говорила она, — я ходила на венгерские фильмы по многу раз. Там был актер — очень похожий на Адама. И когда я на него смотрела — сердце замирало… Как передать это ощущение? Будто раскачивают тебя на качелях, и уже ты — на самой высокой, на самой последней точке… Взлетаешь… И сердце останавливается…

Перед смертью она сказала:

— Я буду лежать в гробу, а вы поставьте, пожалуйста, «Метель» Свиридова… Потому что у нас все было именно так. Мы обвенчались в часовне за городом. Адам прислал за мной лошадей. Сани… Меня укутали в лисью шубу…

И вот я в этой часовне… Метель, а его нет. Сколько я пережила! Священник уже на месте — но где Адам? Он приехал в самый последний момент. Не то в части его задержали, не то заблудился… уж очень страшная метель была. Но он прибыл, и мы обвенчались, и сразу поехали к еврейке, у которой он снял квартиру.

Адам поставил хозяйство так, что молодой жене не приходилось касаться домашней работы. Он сказал:

— Все будет делать хозяйка, я ей заплачу. Я хочу, чтобы у меня жена всегда была отдохнувшая, радостная, чтобы я мог наслаждаться ее нежностью…

Но Полина все же выучилась готовить немало вкусных еврейских блюд.

Вскоре у четы родился мальчик Рафаэль. Рафаэль Адамович Дан.

Но дедушка не верил, что счастье молодой семьи будет прочным. Он считал, что когда война закончится, и начнется обмен пленными, богатый австриец не захочет остаться в разрушенной России. Тут даже в театр пускали только с поленом, потому что нужно было протопить большой зал. И тогда его дочь останется с ребенком на руках. Позор, да и только!

В это время в Царицын вернулся Дмитрий Михайлович, с которым Полина была помолвлена. Он бежал из плена. Измена невесты стала для него ударом. Он с горечью сказал, что предпочел бы остаться в плену, чем — преодолев немало испытаний — добраться до дому и узнать такую новость.

Но сама Полина ни о чем не жалела. После она говорила племянницам:

— Я за пять лет жизни с Адамом испытала столько наслаждения, сколько вы и за пятьдесят лет не увидите от своих

мужей.

После того, как Россия и Австрия объявили обмен военнопленными, Адам действительно засобирался на родину. Он не сомневался, что жена и сын поедут с ним.

Но дедушка в последний раз воззвал к Полине:

— Ты меня не послушалась, вышла замуж, и все случилось так, как я предсказывал. И если ты сейчас уедешь… Пройдет время, он встретит у себя, в Вене — более красивую, молодую… И главное — свою! Австриячку! А ты будешь ходить с ребенком по чужим улицам, не зная языка… Что с тобой будет, ты пропадешь!

И тетя Поля отказалась ехать.

— Если бы ты меня любил — остался бы здесь, — сказала она мужу.

Впервые между ними произошла серьезная ссора.

— Я не могу больше жить в таких условиях, — возражал Адам, — В России разрухе не видно конца и краю… Если бы ты мне сказала, что через четыре года тут все образуется, я бы остался… Но этого не будет, поверь! И я могу сказать твоими же словами: «Если бы ты меня любила — не пожелала бы расстаться…»

В конце концов, Адам обратился в суд — надеялся, что с ним в Австрию отпустят хотя бы сына. Воевал с ним дедушка. Писал царю. И суд вынес решение: девочку непременно отдали бы отцу, потому что жена — виновница, не хочет ехать с мужем. А мальчиков Россия заграницу не выдает.

Когда началась Великая Отечественная — тетя Поля переживала:

— Боже мой, сын воюет с отцом!

Рафаэль к тому времени окончил мореходное училище и был на фронте.

Встретиться с отцом юноше не пришлось. Рафаэль погиб на этой войне.

Но я забегаю вперед. Когда Адам уехал в Австрию, Полина лишилась сна. Ночами она вышивала у себя в комнате. Входил рассерженный дедушка:

— Ты опять думаешь об этом негодяе? А ну-ка сейчас же раздевайся — и в постель!

Страдал и мальчик. Наверное, ему казалось, что папа — в далеких краях, там, где его любимое море. Рафаэль просил сшить ему морскую форму — воротничок, галстук… Купить кораблик, что стоял на витрине игрушечного магазина… Когда же мальчику

исполнилось четыре года — он сбежал на вокзал, и сел в поезд, идущий на Армавир.

— Малыш, ты с кем? — спрашивали пассажиры.

— Я еду к папе, — отвечал ребенок.

И взрослые успокаивались, думали, что мать где-то рядом.

В Армавир поезд пришел под вечер. Рафаэль вместе со всеми вышел из вагона, и вот тут-то испугался. Начал бегать по улицам и плакать. С большим трудом станционным служащим удалось установить — откуда маленький потеряшка. Беглеца вернули в Царицын, матери.

А тетю Полю продолжала мучить бессонница. Знакомая медсестра приносила ей порошки морфия, но даже это сильное лекарство не всегда помогало. Тогда близкие задумали выдать молодую женщину замуж. Ее познакомили с военным летчиком. Может быть, редкое отчество молодого человека сыграло тут роль, но Полина дала согласие. Жениха звали Александр Адамович.

После свадьбы молодые уехали в Ленинград, а оттуда в Свердловск. В квартире у них было красиво и уютно. Едва ли не каждый вечер, к приходу Полины, муж и сын заново переставляли мебель. Будто декорации меняли в театре — войдешь и ахнешь. Повсюду стояли статуэтки из уральского камня. Белые мишки, переливающиеся яички, пепельницы…

Рафаэль не выпускал отчима из виду ни на минуту. Ходил с ним в часть. Но один раз совершил серьезный проступок. Решил искупать командирскую лошадь. Завел ее в Урал, а река горная — быстрая… Конь же был стреножен, мальчик хотел распутать его в последнюю минуту, чтобы не убежал. Вода подхватила коня и понесла. Он выплыл бы, если б не связанные ноги…

Но, несмотря на прекрасное отношение Александра Адамовича и к ней, и к мальчику, Полина не любила мужа.

— Он был таким насилием мне по сравнению с Адамом! Я не знала каждый день — зачем я вышла замуж? — после говорила она.

Окончательно неприязнь проявилась, когда супруг отказался посещать концерты симфонической музыки. Пропадал купленный Полиной абонемент.

— Мне медведь на ухо наступил, — оправдывался Александр Адамович.

А Полина про себя думала: «Грубиян, мужлан! Как можно жить с таким человеком?»

Даже чувствовать себя она стала хуже — открылась язва желудка.

Один раз Полина в тоске сидела на пляже, смотрела на быструю реку. А мимо проходил дедушка. С бородкой, благообразный, похожий на Николая-угодника.

— Доченька, что ж ты такая худая? — спросил он с участием, — Гляди-ка: кожа да кости…

— Желудок болит, дедушка.

— А откуда ты родом будешь?

— Из Царицына.

— Так ты не вылечишься здесь, родная. Тебе тут не климат. Не на Урале надо тебе сидеть-загорать, а на матушке — Волге, на волжском золотом песочке.

Сказал, и пошел себе дальше. Сумка через плечо. Но с тех пор эта мысль не давала покоя Полине. Она не уставала повторять мужу:

— Проси перевода. Тут я умру, а в родных местах — воскресну.

Начальство пошло навстречу. Александру Адамовичу дали направление в Саратов — преподавать в летном училище.

Под новую кафедру были выделены средства. Александру Адамовичу предстояло надлежащим образом все оборудовать. В ожидании квартиры он жил в служебном кабинете. Полина же с мальчиком на лето уехали к матери — на тот самый золотой песочек.

По субботам Александр Адамович обязательно ходил в баню, а потом спускался в подвальчик — выпить кружку пива. Ссылался на слова Суворова: «Портки продай, но после бани пива выпей».

Деньги он решил забрать в понедельник, иначе в выходные нельзя будет даже выйти покушать. И, как всегда, в субботний вечер отправился в баню, а после — в подвальчик.

Старичок, который качал пиво, рассказывал, что к летчику подсела молодая особа. Позже старик узнал ее, что помогло раскрыть дело.

— Александр Адамович, что ж вы один все время? — спросила девица, — У меня сегодня день рожденья, пойдемте ко мне…

Уговорила его, и он пошел.

В питье ему, вероятно, подмешали снотворное. Следователь зачитывал Полине показания преступников — мол, сразу голову на стол опустил и заснул.

Тем временем, был приглашен мясник с рынка, который хорошо разделывал туши.

Он моментально спустил со стола скатерть с графинами и фужерами, расстелил клеенку… Ударил Александра Адамовича по голове обухом — и положил его на стол без сознания. Вскрыл

бедренную артерию… Кровь — все пять литров — спустил в ведро… Части тела потом были цвета свежевыбеленной стены. Труп преступники разделали на части и разбросали по городу.

Утром из домика на окраине вышла старушка и увидела под кустом узел. Разбудила своего старика:

— Гляди-ка, верно кого-то обворовали, а вещи подбросили нам…

Вышли они вдвоем, развязали узел — и ужаснулись: человек? Не было ни головы, ни рук, ни ног… Одно туловище. Александра Адамовича опознали по характерной родинке.

А голову не нашли — ее бросили в Волгу. Так и хоронили без головы.

Родители

Тихо крутятся катушки диктофона.

— Ну зачем вы это все затеяли? Записи эти… Люди, которых я оперировала — они же почти все уже умерли! Мне скоро восемьдесят! Зачем писать?

— Лидия Николаевна!!!

— Задумывается:

— А знаете, я помню женщину… Я ее оперировала по поводу кисты. Мы потом встретились на рынке. Представляете, жара, торговцы стоят, у них все разложено на земле… И она вдруг тут же… среди всего этого… встает на колени, и начинает молиться… Поднимается, обнимает меня и кланяется:

— Лидия Николаевна!

Люди вокруг, их много… И она им всем говорит: «Это не человек — Это Бог, Иисус Христос!»

Так она меня благодарит.

— Лидия Николаевна, — говорит — я все время переживаю, что подарка вам не сделала.

— Да что вы… Какие подарки…

И вот я уже отошла, а она бежит за мной:

— Лидия Николаевна! Лидия Николаевна!

Оказывается — купила вафли. Протягивает:

— Вот, я посмотрела, на что у меня денег хватит… Только на это… Возьмите, не обижайте!

Я потом все переживала, что она последние деньги потратила, и как она по жаре до дому дошла.

* * *

— Лидия Николаевна, давайте начнем с папы… Он ведь был известный терапевт…

— У нас интересно получилось. По маминой линии — все в роду белогвардейцы. По папиной сплошь — в Красной Армии.

Папиному отцу белый офицер на скаку срубил голову саблей.

В то время, когда отец мой, Николай Григорьевич Чесноков, вместе с армией находился в Симбирске, один из маминых братьев, офицер — попал к ним в плен. Его уже поместили в сарай, куда запирали приговоренных к расстрелу.

Николай Григорьевич же должен был ехать в командировку в Царицын. Он просмотрел документы пленных, увидел, что

Александр Косицын родом из Царицына — и перевел его в другое место. Александр же ему дал адрес родителей и попросил навестить их.

Николай Григорьевич пришел к дедушке — так, мол, и так, сын ваш жив…

А мама тут же крутилась, ей было лет пятнадцать-шестнадцать. И очень она отцу понравилась. Он — надо и не надо — стал брать командировки в Царицын. И все время останавливался у нас. Рассказывал про свою жизнь…. И деду Николай Григорьевич тоже очень глянулся. Хороший человек, хоть и «красный».

Папа сперва был не врачом, а фельдшером, но уже доверяли ему быть начальником медсанчасти.

Поженились родители мои в Царицыне. Маме исполнилось 17 лет…

* * *

Молодые уехали в Саратов, поселились в общежитии. О тех годах мама рассказывала немногое. На всю жизнь запомнился им с папой студент, который любил подгоревшее молоко. Он варил его в специальной кастрюле, чтобы подгорало — аж до дымка. Все вокруг задыхаются, а он наслаждается, пьет…

Родилась старшая дочь — Нина. Она с первых дней стала любимицей отца. Николай Григорьевич по ночам вставал сменить ей пеленки. Когда ложился спать — клал под бок детский горшочек, чтобы и среди ночи он был теплым. Ведь печь, которую истопили днем, к тому времени остывала.

Однако питание тогда было столь скудным, что у девочки началась цинга. Мама нашла выход — каждое утро ходила с Ниночкой на рынок, в надежде, что кто-нибудь принесет на продажу квашеную капусту. Купив баночку, мать усаживала дочку на прилавок и тут же ее кормила.

Нина прямо из баночки ручонками доставала капусту и с жадностью ела. Болезнь отступила, и мама потом не раз повторяла, что цингу можно вылечить просто квашеной капустой.

Вскоре родилась еще одна девочка — Алиса, названная так в честь папиной знакомой, красивой девушки, из обрусевших немцев, что обосновались в Поволжье. Малышка не дожила и до двух лет — вдохнула семечку, лежавшую на полу. Осталась фотография — молодая семья, сидящая у гробика. Застывшее личико ребенка, и скорбные глаза родителей.

Третью дочку отец назвал тоже Алисой, а меня, младшую — Лидией, Лилей. Мое рождение совпало с трагедией. Папа стал жаловаться, что от поездок к больным на двуколке у него начинаются нестерпимые боли в позвоночнике. Какое-то время он ходил на вызовы пешком, но один раз — в непогожий осенний день — приполз домой буквально на четвереньках, держа портфель в зубах.

Мама испугалась — она знала, что муж не пьет. Что же случилось?

Но супруг не мог даже ответить на вопросы — только мычал. У него отнялась речь. Впоследствии выяснилось, что это случилось из-за злокачественной опухоли в позвоночнике.

Вначале в тяжесть болезни не верили даже коллеги. Такой здоровый мужчина! Думали, что молодой врач просто хочет получить больничный лист, чтобы посидеть дома с любимой женой. Но папа не мог даже приподняться с постели.

Надо было срочно действовать. Мне исполнилось двадцать восемь дней, когда мама отвезла меня к бабушке, в Царицын. Вернулась она оттуда вместе со своими братьями. Старших девочек оставила с няней, и с помощью братьев увезла папу в Москву, в клинику к Бурденко.

Она запомнила, как великий врач пригласил ее в кабинет и сказал:

— Мы бессильны помочь вашему мужу. Болезнь зашла слишком далеко — кругом метастазы. Вам придется забрать его домой.

Маме в ту пору не было еще и тридцати. Вместе с умирающим мужем и старшими дочерьми она переехала в Царицын. Тут-то и пригодился второй дом, который выстроил в свое время ее отец.

К той поре дедушка уже умер. Сыновья его трудились главными бухгалтерами. Мама пошла работать в «Энергосбыт». Ей повезло — главбухом там был некто Лебедев, человек, которого она запомнила на всю жизнь.

Когда выдавали мыло — он отдавал маме свое. У молодой женщины — дети, лежачий больной… Ей нужнее. Или же мог подозвать ее и попросить отнести в банк «документы». Когда мама разворачивала листы бумаги — выяснялось, что они пусты.

Это означало — Лебедев нынче просто отпускает ее домой.

Папе надо было подавать судно, кормить. Он уже не мог глотать. Мама вспоминала: «Быстро сварю манную жидкую кашу, лью ему в рот, и все течет… Я, в конце концов, расплачусь, блюдце на пол брошу, оно — вдребезги. Нервы уже не выдерживали».

Особенно ценной была поддержка начальника, если учесть особенности того времени. За опоздание на работу можно было попасть под суд, получить немалый срок.

И, начиная с шести утра, гудели фабричные гудки, чтобы люди вовремя поднялись и, наскоро управившись с домашними делами, в срок приступили к труду.

Меня воспитывала бабушка. Похоронив мужа, она жила на небольшую пенсию. Предвидела, что и дочери будет нелегко — с тремя-то девочками, поэтому — трудно поверить, но из песни слов не выкинешь — молилась, чтобы меня прибрал Бог.

В Свято-Духовом монастыре сразу после революции устроили хлебный магазин. Полетели кресты-купола и с других храмов. Но в монастырь народ по-прежнему шел, теперь уже, чтобы купить хлеба или муки. Однако съестного в те голодные годы не хватало, и карточки пропадали.

Чтобы не остаться без хлеба, люди занимали очередь с вечера, записывали номера на руках. Отойти было нельзя — тут же пропадет очередь, и занимай ее снова. Новой власти такое положение дел не нравилось, поэтому поздним вечером или ночью приезжала конница с нагайками, чтобы разогнать очередь — нечего создавать панику! Приходить должно было к открытию магазина, к восьми утра.

Спорить с властью не приходилось, но люди нашли выход. Заслышав стук копыт, очередь разбегалась — народ хоронился в ближайших рвах и канавах, иногда густо заросших крапивой. Лежали, стараясь никак не обнаружить себя, пережидали визит блюстителей порядка.

— Мы только стук копыт услышим — и в эту канаву! А там полынь — кругом же степи, травы высокие росли, полынь и крапива — мы упадем в них — лежим и не дышим. Красные прискочат на конях — нет никого. А мы — вся очередь — лежим там, — вспоминала впоследствии бабушка Прасковья Федоровна.

На кого же было оставить маленькую меня? Уходя за хлебом, бабушка ставила люльку перед образами, делала жевку из ржаного хлеба, заворачивала ее в марлю, клала мне в рот. И по ночам — стоя в очереди, или отлеживаясь в овраге — все молилась, чтобы меня прибрал Господь.

Утром возвращалась домой — тишина. Крестилась: «Ну, услышал меня Бог!» А глянет в люльку — я морщусь, ёжусь, у меня уже нет сил даже плакать. Но — жива…

Бабушка, а впоследствии и я — сильно болели. Прасковья Федоровна мучилась дизентерией, «подплывала кровью». Я

переболела всеми тяжелыми детскими болезнями. Умирала от дифтерита. Позже рассказывали, что были моменты, когда меня уже не надеялись спасти.

Я лежала в инфекционной больнице. Трубка забилась корками — дыхание остановилось. Дежурных врачей не было — и за врачом посреди ночи пришлось бежать в город. Когда тот пришел, я уже посинела — только отдельные судороги показывали, что еще жива. Доктор все прочистил, снова вставил трубку, я задышала. Мне стало так легко дышать! У меня потом все время была мысль — стать врачом ухо-горло-нос.

Я была из тех редких счастливцев, что выжили. Почему-то привозили все больше мальчиков, за день человек двадцать — и они тут же умирали. Иной полчаса поживет, иной — чуть дольше.

Но и выздоровевшим приходилось нелегко. Я долго страдала от слабости. Трудно было помогать бабушке, мыть полы. В школе врачи отстраняли от физкультуры — миокардит.

Из-за плохого питания я переболела еще и рахитом. Грудь ввалилась, суставы были искорежены, голова казалась непомерно большой. Остригли меня наголо, и волосы стали расти черные, жуковые — жесткие, как щетина. И нельзя дотронуться до головы, чтобы причесаться — очень больно! Страшная была — ужас. Но мне надоедало сидеть во дворе, я подлезала под калитку — и выбиралась на улицу.

Папа — он тогда еще жив был — просил бабушку:

— Прасковья Федоровна, не выпускайте Лиду… Ну что ж, все над ней смеются…

Позже, когда мне уже исполнилось лет двенадцать, знакомые спрашивали бабушку:

— Что же, у вас тот уродушек, умер?

Я знала, что этот вопрос обязательно будет — и пряталась за бабушку. Она меня брала, и выводила из-за спины.

— А вот посмотрите-ка…

Но никто не верил, что это один и тот же ребенок. Потому что уж слишком жутко я прежде выглядела.

Да и как не болеть при такой еде? Сварим водичку, ложкой пшена заправим — и все. А какое тогда было лечение… Бабушка положит в ложку кусочек масла, соли туда насыплет, подержит над керосиновой лампой… Такое оно, помню, горячее получается это «лекарство», обжигает все… Если уж очень высокая температура — давали аспирин, полтаблетки. Вот и все. Еще — керосином мазали больные суставы. И втирали его мне в голову, чтобы не завелись вши.

Годы спустя, когда я в Астрахани проходила медкомиссию,

врачи сказали:

— Девочка, ты перенесла туберкулез легких. У второго ребра огромный очаг…

Значит, ко всем моим болезням, там был еще и туберкулез.

После смерти папы мама хотела забрать меня, но бабушка не отдала. Она успела ко мне привязаться. С малых лет стала приобщать к религии — учила молитвам, водила в храм. Впоследствии, когда я училась в школе, это вызывало большое недовольство директора. Но бабушка была для меня куда большим авторитетом.

Я привыкла, что нельзя лечь спать, пока не прочитаешь все положенные молитвы — и «Отче наш», и «Богородице, Дево радуйся», и «Живый в помощи». Читать надо было вслух, чтобы слышала бабушка.

Строго соблюдались посты. Помню, я что-то лизнула, а потом только вспомнила, что пост начался. И так я испугалась — страдала, отмаливала этот грех! Ложка была в чем-то скоромном, в молоке, кажется…

Маме и вправду было нелегко растить дочек. Помимо труда в «Энергосбыте», она зарабатывала на жизнь еще и шитьем. Нина заканчивала школу, она отличалась большими способностями и ей необходимо было дать высшее образование.

В то время Нина училась в школе отличников. Была такая школа имени Ленина. Перед войной там собрали успевающих учеников со всего города. А внутри этой школы были еще классы, где учились отличники из отличников. Нина занималась как раз там. У нее не было текущих четверок. Бабушка рассказывала — однажды Нина пришла из школы, и сил у нее хватило только на то, чтобы открыть калитку. Оказывается — сочинение на четверку написала. Так вызывали «скорую помощь»! Перенервничала, спазм сосудов… Поднесли нашатырный спирт — она очнулась.

А мама обшивала девочек к выпускному вечеру — порою до утра сидела, не спала. Тогда крепдешин был настоящий, разных цветов. И такие красивые платья шила мама…

У меня же свой портной был — бабушка. Пойдет в сарай — там от стариков остались всякие тужурочки. Она их соберет, распорет, простегает — и сошьет мне сапожки матерчатые. Я в них ходила… Она даже ссорилась с мамой, говорила ей:

— Если уж забросила ребенка — так хоть какой-нибудь лоскут бы кинула, обноски от старших. Я б ей платьишко сшила…

Но вещей в семье не оставалось. На средней дочери, Алисе, все «горело». Однако училась она тоже на «отлично», занималась

во многих кружках, писала пьесы, очень любила животных.

Мама ей, бывало, строго накажет: «После школы иди к бабушке».

И вот бабушка глядит — через забор летит портфель, а Алиса промчится мимо дома — и по кружкам. Характер у нее был боевой! Даже уличные мальчишки ее побаивались. Напротив жил мальчик Толя, и помню, что Алису все раздражал его насморк. Как-то раз она его поймала, раздела: сняла шапку, варежки, пиджачок теплый, ботинки — и все покидала в колодец. Да еще его налупила.

И подружки у нее были — самые известные хулиганки во всем Сталинграде. Ланка, Светланка — вечно ходила в валенках, к которым веревками были привязаны коньки. И палочки вставлены, чтобы закручивать веревки. У нее был большой крючок — она цепляла его за машины, за грузовики. И со всей скоростью неслась по Кубанской улице… Потом за другую машину цепляется, и опять.

…Светланка погибла рано. В годы войны, когда наши войска уже шли по территории Германии — брат ее присылал с фронта посылки. И подруги девочки решили ограбить дом, забрать заграничные вещи. Они принесли хлебные карточки, отправили Ланку за хлебом, а тем временем — ударом топора убили ее мать. И сбросили тело в подполье.

Когда Ланка вернулась домой — в тарелках на столе остывал суп — мама успела его разлить. Гостьи сказали, что хозяйка побежала к соседке, завели патефон. Одна из них пригласила Ланку танцевать, а вторая вновь взмахнула топором.

— Девочки, да что вы делаете? Вы ж мои подруги! — кричала Ланка.

Её труп тоже бросили в подполье.

Печка с тех пор не топилась, и суп в тарелках замерз.

Прошло время, и с фронта вернулся брат, приехал вместе с товарищем. Они увидели дом, занесенный снегом. Отперли дверь, вошли. Было очень холодно. Друзья протопили печь, и Гоша тут же упал спать. А товарищ его начал размышлять — и тревожные это были мысли.

Не давал ему покоя замерзший суп.

Парень зажег газету и, как с факелом, обошел всю квартиру. Потом вышел в коридорчик и увидел лаз в подполье. Зажег еще газету — бросил вниз, и пред ним предстали убитые. Благодаря холоду тела не разложились.

Тогда друг разбудил Гошу и позвал ночевать к соседям.

— Действует на меня этот суп, — сказал он, — Мысли всякие

лезут… Ну куда могли деться твои близкие?

Ребята пошли к соседям, постучались. В ту пору люди делились последним. И с радостью дали приют возвратившимся с фронта.

А утром друг показал страшную находку.

Юных преступниц нашли — привезли из другого города и судили.

Алиса же говорила, что эти девочки — убийцы, были ее самыми близкими подругами. Она гуляла с ними допоздна. Мама ругала ее, и даже била, но удержать дома не могла. Ведь мама целый день пропадала на работе, и Алиса была предоставлена сама себе.

Иногда сестра брала меня с собой. Один раз позвала посмотреть эвакуированный из Москвы зоопарк. Там был говорящий попугай — розовый, большой. Когда звучал сигнал воздушной тревоги, он повторял: «Володя боится, Володя боится, воздушная тревога!»

Сама Алиса бесстрашно входила в клетки. Помню, подвела она меня к страусу. Клетка огромная. Она открыла ее — мол, чего ты трусишь, заходи! Я зашла, а страус пригнулся, да с такой скоростью на меня кинулся! Алиса выскочила, а я осталась внутри. Как он меня ногами бил, этот страус! Я думала — насмерть забьет. И Алиса боялась прийти мне на помощь — и страус, и я были около двери. Стоит ее открыть — и заморская птица побежит по зоопарку.

А гиена! Она была такая противная, общипанная, облезлая. При мне Алиса вошла к ней — хотела погладить, приласкать. Она очень любила животных. Так гиена ей руку разорвала до кости.

Но я забежала вперед…

* * *

В первый класс меня отвела бабушка. После дифтерии у меня болели голова и сердце. Худенькая была, кожа да кости.

Школу выбрали недалеко от дома, чтобы бабушке удобнее было меня встречать. Учебное заведение представляло собой одноэтажное здание, здесь занимались школьники с первого по четвертый класс.

А у тети Поли сын поступил в Одесское высшее морское училище. Он едва успел получить диплом, как был отправлен на фронт. Вскоре пришло известие, что он погиб.

Тетя Поля осталась одна — без любимого мужа, без сына. И

поэтому — я с ней никогда не расставалась.

Война

Перед началом Великой Отечественной войны старшая сестра, Нина, успела поступить в Ленинградский химико-технологический институт. Ее подруга Нина Посохина решила держать экзамены в горный. А наша очень любила химию, еще папа рассказывал ей многое об этой науке.

Тогда не было золотых медалей, у Нины на руках имелся лишь аттестат, что она окончила особенную школу. Бабушка повторяла нам с Алисой: «Ни одна из вас не удалась в Ниночку. Она, бывало, до утра не ляжет спать, если не сделаны уроки. И все школьные принадлежности у нее — как новые. Поглядите, тетрадка уж вся исписана, а будто из-под утюга».

Когда Нина после первого курса приехала на каникулы — она пришла от нас с сестрой в ужас. Она считала, что мы выглядим как цыганята, шпанята… А кому было прививать нам культурные навыки? Мама работала день и ночь.

Мы боялись Нину, и не особенно желали ее приезда, потому что знали: она будет читать нам нотации.

Но какие красивые письма она писала из Ленинграда! Нина описывала, как весь первый день они с подругой с благоговением проходили по улицам, по которым ступал Пушкин… Рассматривали достопримечательности. Это было время белых ночей. Нина писала стихами:

И, не пуская тьму ночную
На золотые небеса,
Одна заря сменить другую
Спешит, дав ночи полчаса.

Профессора отговаривали сестру поступать на факультет органики и пиротехнических веществ:

— Тут никогда не учились девочки! — убеждали они.

Однако собеседование Нина прошла блестяще, и решения не изменила.

Когда началась война, Нина училась на втором курсе. Всех студентов-юношей немедленно отправили на фронт. А единственную девушку определили в эвакопункт санитаркой.

Питание раненых было скудным. Если санитарка несла кашу, и по дороге решалась попробовать лакомое блюдо хоть с кончика ложки — ее выгоняли. Нина оказалась одной из немногих, кто ни разу не соблазнился чужой порцией.

Увидев столь добросовестную работу, главврач предложил девушке окончить краткосрочные курсы медсестер.

Председателем комиссии был главнокомандующий Ленинградского округа Говоров.

И Нина так строчила ему, все что выучила, что он сам велел направить ее в военный госпиталь — старшей операционной медсестрой. Вместе с этим госпиталем она дошла до Берлина.

У нее и сейчас в доме идеальный порядок. Из нас, трех сестер, она самая трудолюбивая. Так ее воспитал отец. Она передавала его слова:

— Ниночка, ни в коем случае не ходи в церковь. А если бабушка тебя туда потянет — возьми с собой хотя бы ложку. Там ведь одну ложку суют всем в рот, можно заразиться.

И Нина одна из нас троих — некрещеная.

* * *

Пришло время, когда из Ленинграда стали вывозить тех, кто пережил блокаду.

И мама каждый день, после работы ходила встречать поезда.

Мы жили рядом с вокзалом. Ленинградцы казались похожими на инопланетян — огромные глаза, а плоти совсем нет. Они снимали последнее, что у них было, протягивали — кто серьги, кто золотую цепочку — и только еле слышно просили: «Хлеба, хлеба…»

А мы получали хлеб по карточкам за три дня вперед. Поделиться было нечем.

Но эти несчастные люди все равно умирали, потому что у них была еще и дизентерия.

Помню ужасный запах — до самой Волги было нечем дышать. А уж если проходишь мимо платформы… Мы всегда закрывали носы, потому что пахло трупами.

Сложены они были как высохшие поленья. И мама перекладывала эти кучи, раскидывала штабеля, искала среди тел Нину. На что можно было надеяться? Девочка осталась одна в Ленинграде.

Когда сестра поступила в госпиталь, она была идеалисткой, верила во все доброе.

За нею начал ухаживать хирург по имени Николай. Он говорил, что холост, что намерения его самые честные.

Начальник госпиталя носил фамилию Аспель, он стал потом мужем Нининой подруги. Семья Аспеля погибла в блокаду.

А Николай был родом из Сибири, и — как оказалось позже,

там ждали жена, сын… Он все скрыл, потому что Нина не пошла бы на роман с женатым мужчиной.

Вскоре Николая перевели в другой госпиталь. А у Нины случилась страшная ангина, осложнившаяся абсцессом. Она пылала в жару. И вдруг открыла глаза — и увидела, что Николай стоит перед ней. Галлюцинация от высокой температуры? Нет, он действительно приехал, чтобы забрать Нину к себе, договорившись об этом с командованием.

После войны Николай отправился в Сибирь — навестить мать. Но вернулся очень быстро. По официальной версии — ему не понравился прием.

— У мамы в серванте стояла хорошая фарфоровая посуда, а она меня посадила за стол в кухне, начала угощать борщом из эмалированной чашки. Уж могла бы встретить после четырехлетней разлуки, открыть сервант и по-человечески накрыть на стол….

Так говорил Николай, хотя дома, скорее всего, у него состоялось выяснение отношений с супругой.

Нина училась уже на третьем курсе, когда открылась правда. В их ленинградскую квартиру вошел красивый мальчик лет двенадцати. Бросился на шею отцу.

А потом обернулся к Нине:

— Тетя, отдайте моего папу! Если хотите, я встану перед вами на колени…

Нина тогда убежала из дому, ничего не взяв с собой. Как она страдала, как ей хотелось увидеть любимого! Но Николай звонил, а она — услышав его голос — клала трубку. Не могла простить такой жестокий обман. Хоть и ночи не спала, мучилась, любила.

Но может быть, он хотел с ней встретиться, чтобы просто разделить вещи? Мама потом говорила нам:

— Будете расходиться, смотрите, не сделайте, как Ниночка — заберите хотя бы свою одежду.

Однако учение сестра не бросила. Перешла жить на частную квартиру, и сказала маме:

— Помогать мне не надо. Я буду получать повышенную стипендию. На кашу и чулки хватит, а больше мне ничего не нужно.

Нина приехала в Сталинград, уже окончив институт с отличием.

Помню, было очень жаркое лето, мы не вылезали из Волги. А Нина бедная, сидела в комнате, и готовилась сдавать экзамены в аспирантуру. Она поступила, блестяще защитила диссертацию, и навсегда осталась в Ленинграде.

Осуществилась ее мечта. Сестра ведь в первый день, едва

ступив на ленинградскую землю, дала клятву, что этот город никогда не покинет. Так и получилось. Ее направили на работу в научно-исследовательский институт. Позже она вышла замуж. Он был инженером, заместителем директора Кировского завода.

Еще Нина окончила вечернее отделение университета искусств. Училась с упоением. С ней невозможно было ходить в Эрмитаж. Приедешь в Ленинград — хочется побегать по магазинам, купить мальчишкам рубашки. А Эрмитаж, я не знаю, его за десять лет можно обойти или нет… Там столько залов…. Я всегда старалась присоединиться к экскурсионной группе. Гид кратко рассказывал о каждой картине, и мы шли дальше. Но если я была с Ниной… Вот на полотне изображены запорожцы… у одного из кармана виднеется кончик красного платка. И Нина два часа читает мне лекцию, что это означает. Я уже стоять не могу — голова кружится, а она с таким вдохновением говорит…

А не дай Бог попадешь в зал, где бабочки… Нина расскажет все — и где они выводятся, и как зарождаются…

Помню, она потом жаловалась маме, какое у меня было лицо во время ее рассказа. Говорила с чувством: «Вот что значит — Лида воспитывалась на улице! Ты бы видела ее безразличие к искусству! Меня это прямо убивало!»

Недавно умер единственный сын Нины — Алеша. Алексей Купчин. Он был дайвером, утонул в Красном море. Об этом писали газеты:

«Алексей Купчин погиб, выполняя погружение в глубоководную каверну Пещера Нептуна на глубину 76 метров (согласно показаниям компьютера погибшего). В момент, когда тело было обнаружено, погибший находился в самом дальнем конце каверны, за сужением, лицом от выхода, (тело под углом примерно 35–40 градусов). На нем было все оборудование, включая декобаллон.

Лица погибшего не видно, поэтому, нельзя утверждать, была ли на лице маска и где регулятор. После извлечения тела через сужение маски на лице и регулятора во рту не было, также сорван резервный регулятор с ошейника, что, возможно, произошло при протаскивании тела через сужение.

В каверне стояла пелена взвеси, не характерная для этого места, возможно, погибший сильно замутил проход или заднюю комнату.

После извлечения тела кулаки погибшего были сжаты, руки в положении „перед собой“. При подъеме тела кровь погибшего привлекла крупный экземпляр акулы-молота, которая, впрочем, не доставила никаких осложнений и вскоре скрылась».

Алексей очень любил мать. Был чемпионом по плаванию, ездил то на Средиземное, то на Красное море. И чем сложнее, экстремальнее были погружения, тем больше приносили ему удовлетворения.

Незадолго до его гибели, я слышала по телевизору, как россиян просили не нырять в Красном море. Там тонет столько наших соотечественников, что морозильные камеры для трупов переполнены.

Когда Нине сообщили о смерти сына, она ни разу не заплакала. У нее очень светлая голова — не скажешь, что скоро ей исполнится 90. Она энергична, и никогда не плачет. Сама она объясняет это тем, что слишком много на фронте перевидала умирающих мальчишек, и это что-то изменило в ее душе.

Когда пришло горестное известие, мы с Алисой вытирали слезы, а Нина — нет.

— Его же этим не поднимешь — так что плакать? Он от этого не воскреснет…

Алешу привезли в цинковом гробу. Переложили в красивый, дубовый. И похоронили на Пискаревке, там, где лежат умершие в блокаду. В этом году сын Никита поставил ему хороший гранитный памятник.

Теперь внук заботится о бабушке.

— Лидия Николаевна, а как началась война для вас?

— На столбе висела черная тарелка-репродуктор. Говорил Левитан. Все слушали и плакали. Мы проснулись от этого плача, от общего стона… Не только женщины, но и мужчины не могли сдержать слез… У Левитана же от одного голоса заплачешь… Он так произносил эти слова — «немецкие захватчики»! Фашисты говорили: «Нам не столько Сталина желательно убить — сколько Левитана».

Жизнь изменилась сразу. Мужчины ушли на фронт, женщины рыли окопы… Мы, дети, работали в селе. Я была еще совсем маленькая. Дали мне два ведра, кружечку повесили на пояс… Трактористы пахали, а я подносила им напиться.

Потом сделали помощником повара. В четыре часа утра я уже в поле — нужно кашу сварить, и почистить картошку, свеклу. Позже приходила повар, готовила обед…

После ее ухода я оставалась, чтобы вымыть котлы. Там была вырыта яма, в нее бросали доски, поджигали — и на этом жару варилась еда. Но каша пригорала. Мне нужно было вычистить котлы до блеска, и только потом идти домой.

Я помню, как боялась зажигать спички. Хорошо, если тракторист окажется близко, или проедет на велосипеде какой-

нибудь мужчина. Так просишь его помочь разжечь…

— Эвакуироваться вашей семье было нельзя?

— Сталин приказал вывозить только детей. Такой хитрый приказ. А для взрослых другой — «Ни шагу назад!». Матери боялись детей отпускать одних — составы же бомбили дорогой.

В маминой организации «Энергосбыт» у начальников была бронь. И они отправили жен вместе с детьми. А маму не отпустили — она была рабочая единица.

Мама готовилась вместе с нами уйти тайком. Думала, что никто не будет искать сорокалетнюю женщину. Ведь она не военнообязанная… Уже тележку приготовила, чтобы мы, переправившись через Волгу, шли к папиной сестре и везли вещи.

Поэтому мы и окоп во дворе не рыли. Зачем? Ведь скоро все тут бросим. Приходил милиционер, видел, что нет окопа, выговаривал маме и тете Поле. В последний раз пришел 20 августа. Сказал, что если к завтрашнему дню не выроем — наложит штраф.

— Я вас жалею — одинокие женщины, живете бедно, дети маленькие. Но раз приказу не подчиняетесь — придется штрафовать.

Мама с тетей перепугались и начали копать. Зигзагом, абы как… Неглубокий окоп вырыли, сверху положили доски, сорвали кленовые ветки — и тоже уложили, землю на них побросали. И ступеньки вниз сделали небольшие.

Участковый пришел — удивился, и похвалил:

— Вот ведь умеете сделать хороший окоп.

А сам не вник, что это для отвода глаз было. Потому что мама думала — вот-вот бросим все и уйдем.

А потом был самый страшный за всю войну налет. И окоп нас спас.

До этого немцы прилетали понемножку, по 10–12 самолетов. Побомбят да улетят. По радио воздушную тревогу объявят, потом отбой.

Вообще у немцев техника была мощная. Они все время сбивали наши самолеты. Помню, опускается на парашюте летчик без сапог… по ногам кровь течет, а вокруг кружится «рама». И немцы смотрят — куда летчик приземлится. Бои-то уличные идут.

На нашей улице — немцы, а на следующей — русские. Отобьют немцев, они отступят на одну улицу — и наши солдаты вбегают в окопы.

И вот с «рамы» глядят — на какую улицу летчик сядет. Если к немцам — ему дают спуститься и в плен берут, а если к русским — то расстреливают еще в воздухе.

Мы из окопов выглядывали: хоть и темно, но видно было.

Время от времени немцы бросали светящиеся лампы — и светло становилось, хоть иголки собирай… Они вылавливали каждую «катюшу»… Она такие звуки издавала, эта «катюша», что волчком крутишься на месте, с ума сходишь. Как будто рушится земля, идет какой-то страшный зверь, и роет землю огромными зубами… Казалось, что сейчас этот зверь и тебя тоже в жуткую глубину зароет.

«Катюши» стояли на машинах. Отстрочат свои снаряды, и тут же их увозят с этого места. А немцы вычислят — откуда стреляли — и давай бомбить эту улицу. Это, наверное, единственное оружие было, которое не уступало их минометам.

А 23 августа…

Для справки.

> 23 августа 1942 года немецкие самолеты под командованием В. Рихтгофена подвергли варварской бомбардировке Сталинград. За один день противник совершил более 2000 самолето-вылетов. Несмотря на противодействие советской авиации и зенитной артиллерии, сумевших сбить 120 фашистских самолетов, город был превращен в руины, погибло свыше 40 тысяч мирных жителей. Горели не только здания, горели земля и Волга, поскольку были разрушены резервуары с нефтью. На улицах от пожаров стояла такая жара, что возгоралась одежда на людях, бежавших в укрытия.
>
> В этот же день 14-й танковый корпус 6-й немецкой армии прорвался к Волге в районе поселка Рынок и отрезал 62-ю армию от остальных сил Сталинградского фронта.
>
> 23 августа 1942 года — самая скорбная дата в истории Сталинграда.

Вспоминает Лидия Николаевна:

— Мама утром пошла на рынок. Там продавали стаканчиками муку: кукурузную, ячменную… Она сказала:

— Куплю кое-что в дорогу, и сегодня же двинемся в путь.

Мы были готовы. Под пальтишки нам с Алисой мама подшила отрезы. У этого бостона была целая история. Мама даже называла имя приказчика, у которого он был куплен. Больше такую качественную ткань нельзя было достать ни у кого.

И папа просил: «Маруся, в каких бы тяжелых условиях ты ни

очутилась — этот бостон не продавай. Остальное — на твое усмотрение. Ты — мать, не обидишь своих детей. А из этого отреза — когда дочкам по 17 лет исполнится, юбочки сошьешь. От меня в память».

Мама эти отрезы подшила под пальтишки, чтобы и нам теплее, и тележка полегче была.

И вот с утра как объявили воздушную тревогу… Никогда так не говорили — мол, из окопов ни в коем случае не выходить — а то расстрел на месте. Мама рассказывала — только пришла на рынок — и милиция все закрыла, никакой торговли. Репродуктор приказывает: «Все в траншеи — и не выпускать никого».

Люди привыкли, что воздушная тревога длится около часа. И все, можно вылезать. А тут через каждые 15 минут объявляют эти угрозы, чтобы носа не высовывали. И все грознее говорят с каждым разом.

Мама бросилась к милиционеру, повторяла, что у нее дома маленькие дети и мать старушка. Часа три молила! В конце концов, он разрешил перебежать в следующую траншею — поближе к дому. И там повторилось то же самое. Пришлось просить другого стража порядка.

А у нас дома был заведен порядок — если одного члена семьи не хватало, за стол не садились. Бабушка сварила воду, пшеном заправила — есть хочется, а мамы нет. Наконец она прибежала и рассказала, с каким трудом — с шести утра, до шести вечера добиралась домой.

Только мы сели за стол, взяли ложки, и вдруг видим — надвигается ночь. Стало темно. А перед тем светило солнце. Это самолеты бесшумно летели и пустили дымовую завесу. Мы выбежали на крыльцо, так и не попробовав супа — посмотреть, что происходит. Глядим: с запада надвигается огромная черная туча, и клубится вся, как живая. Это немецкие летчики, чтобы видеть цель — вынырнут из этого облака — и тут же бомбы сыплются. Поток бомб, свист стоит в воздухе…

И как только мы увидели эту тучу, эти ныряющие самолеты, нас тут же сбили с ног воздушные волны. Лежим на крыльце — до окопа два шага, а встать не можем, потому что качает, как на качелях. Потом уже — мама велела — мы кубарем скатились в окоп. Надо было спасаться от осколков — они летели поверху.

Крики кругом, стоны… Люди кричат нечеловеческими голосами — не поймешь человек это или зверь… Нашему пожилому соседу оторвало обе ноги, он погиб от кровотечения — некому было помощь оказать.

И мы как упали в окоп — все: больше нос высунуть было нельзя. Шла стрельба трассирующими пулями. Похоже на

нынешний салют, только очень страшно. Бьют из минометов, из «ванюш». У них такой писклявый-писклявый голос был, на нервы действующий, но понежнее, чем у «катюш».

И «катюша» в ответ сейчас же стреляет басом, а «ванюша» тонким своим голоском отвечает.

Мы только через несколько дней освоились к этой страсти. А есть нечего, с голода умираем. Мама простилась с нами и пошла. На вокзале горели составы с пшеницей. Она хотела добыть немного зерен, чтобы замачивать и жевать, чтобы не умереть. И воды надо было принести.

Поползла она на вокзал. Там пламя, все горит. Мама смогла лишь вот столечко пшеницы принести… Она пахла дымом и была горькая на вкус. А по дороге мама увидела огромную лужу — она потом всю жизнь вспоминала. Лужа как кисель — жидкая грязь. И в ней лежал убитый офицер — головой прямо в этой грязи. Цвет лица белый-белый — обескровленный… И мама с ведром поползла за этой грязью. Подумала — через тряпку будем пить. И мы пили.

Тогда не болели. От этой страсти переключалось все в организме. У меня в 11 лет виски были седые.

И вот раз в день мама замочит пшеницу, разложит всем в посуду… Помню было: я только взяла свою чашечку — и рядом огромная бомба упала. В тонну, наверное, весом, не меньше. Нас всех сдавило, в окопе — трещины пошли. Может быть, спасло то, что мы молились без конца. Бабушка мне говорила:

— Ты еще безгрешная. Обеги вокруг окопа, прочитай: «Живый в помощи…»

Снаряды летят, а я бегу, молюсь, чтобы не попало в окоп.

И когда эта бомба упала, тонная, все наклонились над своими тарелками, а я подумала — все… Оцепенела. И земля, которая летела сверху — насыпалась мне в чашку. Но я не получила вторую порцию. Мама больше не дала.

А еще мы взяли бабушку. У соседей были дети, и нянька. Полячка, очень интеллигентная. Ей исполнилось 96 лет. Помню, до войны у нее было плетеное кресло. Такое интересное плетение… Подручники… Мы все хотели дотронуться до него, а она пугала, что в переплетениях спрятались тараканы. И мы боялись. А она сидела в своем кресле, как принцесса.

Не знаю, куда после бомбежки делись наши соседи. Двор был пустой. И мы бабушку взяли к себе в окоп. Посадили ее с краю.

К нам забегали то немцы, то наши…

У старушки висела на шнурке маленькая сумочка. В таких мужчины носят табак, а у нее там был сахарный песок. Она его берегла, а сама уже высохла вся, как ребенок. И вот немец

спрыгнул в окоп, обрезал шнурок, и в карман сумочку положил.

Она ему сказала по-немецки:

— Мне 96 лет, как вам не стыдно у меня отбирать последнее?

А он только засмеялся, вытащил из сапога губную гармошку, заиграл… Потом мою бабушку поднял, ощупал. У нее были спрятаны сухари — отобрал и это.

* * *

Лето закончилось — началась осень. Днем дожди, а по утрам мороз. Нас спасло, что мы вылезли из окопа, принесли из развалин дома ковры, укрылись. Но все равно — было так холодно! Алиса недавно позвонила:

— Помнишь 22 ноября? Пошел проливной дождь, а наутро ударил сильнейший мороз, градусов двадцать. На нас одежда стояла колом! Как мы плакали с тобой, кричали! Это уже не руки мерзли, это уже самое кости ломило от холода. Страшная боль.

Мы различали врагов по форме: немцы, румыны, хорваты… Если черная форма, все черное: брюки, пилотки с черепом — это эсэсовцы. Но даже их мы так не боялись, как венгров и хорватов. Нет более жестоких наций! Я запомнила это на всю жизнь. У них мания такая — убивать, ни за что. Если хорваты проходят — они обязательно кого-нибудь убьют, ткнут кинжалом, изнасилуют. Население добивали в основном хорваты. Живот могли распороть, голову снести.

Собачки в окопы прятались — они их расстреливали. У нас был любимый песик — рыженький такой, умный. Нина принесла его маленьким щенком, когда уезжала в Ленинград учиться: «Мама, оставь». Он подрос уже, пушистый был, мы с ним играли… Единственная радость детская… Он на хорват гавкнул. Они сперва в него выстрелили, а потом достреляли — в рот.

Вспоминая о том времени, не могу не сказать о Владимире Николаевиче.

Это был мамин знакомый. Он из Ленинграда, во время войны вместе с заводом эвакуировался в Сталинград. Жена его вместе с дочкой погибла в блокаде, сын был на фронте.

А так как мама в «Энергосбыте» вела промышленные предприятия, Владимир Николаевич пришел оформлять свой завод к ней. И мама ему так понравилась! Он стал заходить к нам домой. Интеллигентный человек. Читал на французском языке. Знал Куприна — тот когда-то служил в его части.

Сам Владимир Николаевич закончил морскую академию. Все учебники того времени по судостроению — написали его бывшие однокурсники, они стали учеными. И у Владимира Николаевича тоже имелись свои труды.

До революции у его семьи был дом в Петербурге, на проспекте Римского-Корсакова — дом занимал весь квартал, и переходил на другую улицу. Владимир Николаевич рассказывал, какие там проходили балы…

Он приносил нам мороженое — чашку с верхом. У мамы появилась — тогда модно было — шубка длиной по коленки, сапожки на шнурочках, цвета кофе с молоком.

Но маме Владимир Николаевич не нравился. Он был старше ее на пятнадцать лет, а в то время никто не выходил замуж, если была такая разница. Это считалось позором.

Мама говорила:

— Я лучше буду воду с сухарями пить, и ходить в матерчатых тапочках, но за старика не пойду.

И вот когда самый-самый разгар войны был, темно, то немец в окоп забежит, то русский… Трассирующие пули, тонные бомбы вокруг сыплются, мы все в земле лежим… Соседи погибли: кого завалило, кому в дом — прямое попадание. И вдруг Владимир Николаевич сваливается в окоп. Мы думали — немец. Шляпа такая на нем…. И никакой поклажи: только две стопки книг шпагатом перевязаны — его труды. Он не мог их бросить…

Он позвал маму идти на переправу.

На улице ночь — тогда темно было сутками напролет. От дыма, от пожаров. Только видно, как трассирующие пули летят. Кромешная тьма… и он маму приглашает на переправу. А Волга вся красная от крови.

Мама говорит:

— Куда ж я пойду, у меня дети и бабушка…

Владимир Николаевич посидел, я помню — у него шляпа лежала на коленях, и рядом — две стопки книг. Пот с него катился градом — вот такой величины капли. Он все время вытирал их. Посидел и ушел. И мы его считали погибшим. Бабушка молилась за упокой.

А потом, годы спустя, в Астрахани — я его увидела. В морской форме. Я подошла к нему как к родному. Такая встреча была!

Он говорил:

— Мамочка твоя сама виновата, я ей предлагал вас поставить на ноги. Она мне категорически во всем отказала.

* * *

Февраль 43-го… Мороз… Вши… Когда я годы спустя поехала учиться в Астрахань, у меня такое тело было… Там, где вши кусали — глубокие рубцы, все выедено. Эти участки не загорали. Все тело шоколадного цвета, а те места белые. Как в анекдоте про девушку с веснушками: «Вы что, красавица, через сито загорали?»

В бане меня окружали женщины:

— Чем ты больна? Да разве тебе можно мыться вместе со всеми?

Я потом ходила мыться только в номера.

И вот пришли наши. Солдаты варили похлебку, заправленную мукой. Она была белого цвета. Разливали в кружки, кормили… А с нас прямо в похлебку падали вши. Тогда приехали деззстанции на машинах, с душевыми установками. Там было тепло. Нас раздели, выкупали, а вещи прокалили так, что никто не узнавал свою одежду. Она вся стала темно-коричневого цвета и долго пахла жареным. Мне спалили бобриковый воротник у пальто.

Часть населения вывезли за город — туда, где уцелели дома. А потом люди стали возвращаться. Жили в подвалах. Еще строили много бараков, как для скота. Там были нары. Начали проводить электричество. Город оживал.

А бабушка в 1944 году умерла от пневмонии. Был такой холод! А лекарств — никаких. И она погибла. Месяц ровно проболела. Уже ничего не могла есть, даже пить не могла. Тетя Поля ей пыталась влить воду, а она отворачивала голову…

Все было разрушено — никаких учебных заведений. Потом на окраине города открыли одну школу. Кое-как отремонтировали здание, окна закрыли фанерой. В классе сидишь — замерзаешь. Писали перьями, макая их в разведенную краску — на обрывках бумаги, на газетах…

В то время моя любимая тема была — героини войны, летчицы. Я хотела быть только летчицей! Позже, в мединституте у нас преподавала знаменитая Саша Хорошилова, из 46-го женского полка ночных бомбардировщиков. Тогда она уже носила фамилию Архангельская.

Для справки:

Саша Хорошилова. Вооруженец, затем штурман, комсорг 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка 325-й ночной бомбардировочной авиационной дивизии 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта, гвардии лейтенант.

В Красной Армии с 1941 года. В действующей армии с мая 1942 года.

Участвовала в битве за Кавказ, освобождении Кубани, Крыма и Белоруссии. Дошла до Германии.

Вспоминает Лидия Николаевна:

— У нее уже была семья, дети. Она писала диссертацию.

А в годы войны она удивительным образом умела настраивать летчиц и штурманов на победу. В полк поступало пополнение из других мест. Приходили летчицы, владеющие техникой безупречно. Но — не прошедшие школу Марины Расковой и Саши Хорошиловой. И порой они гибли после первого же вылета. Войдешь в комнату — постели свернуты. Значит — убиты. А те, кого выпестовала Хорошилова — воевали и побеждали.

Саша была уникальным человеком. Я думаю, она владела чем-то вроде гипноза.

В мединституте политэкономию у нас преподавали мужчины. Они читали лекции — молодые, красивые, отутюженные, с носовыми платочками в кармашечках. Мы сидели — и не столько слушали, сколько на них любовались. Рассказывали они корявым языком, и предмет казался неинтересным. Не доходил. Я страшилась, как буду сдавать экзамены.

И вдруг, во втором полугодии, глядим — входит маленькая женщина. В ботинках с цигейковой опушкой, как тогда было модно. Очень маленькая, пуховый платок на плечах — в аудитории холодно. Фамилия Архангельская.

Думаем: «Кошмар. Такие соколы читали, и то не доходило — нудно, трудно. А тут пришла эта курносенькая — смотреть не на что…»

Но когда она заговорила… На потоке пятьсот человек. Или слезы у всех, или сплошной хохот. Вот начинает она рассказывать о хитростях капитализма. И мы все хохочем над тем, как капиталисты распределяют прибавочную стоимость по своим карманам. Саша стоит, ждет, чтобы мы успокоились, и можно было продолжать.

Но когда она начинала говорить о революции и гражданской войне… В каком состоянии была Россия… Я никогда в кино не плакала, а тут навзрыд. И не я одна…

И как первый трактор появился, а за ним бежали мальчишки в одних рубашонках. Крохотные, одни — родители-то в поле. Трактор идет, пыль и в клубах пыли — эти мальчишки бегут… И

плачешь, какая истерзанная была Россия.

Политэкономия стала нашим любимым предметом.

Астрахань

После смерти бабушки я осталась с матерью и старшей сестрой. Мучила малярия, весь седьмой класс я проболела. Через день — температура за сорок. То обливаешься потом, то никак не можешь согреться. Сестра наливала в чашку горячую воду, набрасывала на меня все пальто, какие были — ничего не помогало.

Лечил меня папин друг — Александр Лаврентьевич. Человек интеллигентнейший и высокообразованный. Когда я смогла заниматься, он помогал мне по математике и физике. Бывало, не только объяснит пропущенное, но и забежит вперед. Я удивлялась — врач, терапевт, а какое знание точных наук!

К слову — жена все смеялась над его причудами. В Николаевке, где они жили, работала баня. По четным дням — там были женские дни, по нечетным — мужские. А Александр Лаврентьевич путал. Приходил, когда ему было удобно. Разденется, если женский день, так плавки оставит — и идет мыться. Но ему не делали замечаний, ценили очень. Знаете, старые врачи они так к больным относились…

И вот в школе я появилась только к 8 марта. Желто-зеленого цвета после акрихина. Учителя говорили, чтобы я уж и не ходила учиться, отдыхала — все равно пропал год.

Но мама просила: «Пусть хотя бы посидит с подружками».

В нашем классе учились девочки из семей с разным достатком. Родители некоторых были не вполне честны. Например, как рассказывала мама, они подворовывали электроэнергию. Тогда все организации были расположены в подвалах. Они платили «Энергосбыту», но платежи не проходили. Кто из проверяющих станет лазить по этим подвалам, проверять?

Мама была в особенно трудном положении, так как она знала о махинациях. Если бы все раскрылось, она бы, несомненно, пострадала, просто потому, что знала.

Я помню, как дети таких родителей приносили в класс белый хлеб, намазанный маслом, посыпанный сахаром. А у нас хлеба не было вообще — мы брали его за два дня вперед. Дальше продавец уже не хотела отпускать:

— Девочка, приходи к концу дня, когда будем закрывать магазин, — говорила она, — Если останется хлеб — я отпущу. А пока идут люди, надо в первую очередь отоварить их карточки на сегодняшний день.

Какое там масло, какой сахар — пределом мечтаний был хлеб!

…После войны, после этих тяжелых послевоенных лет — я не могу голодать. Я до сих пор сына Олега по утрам спрашиваю:

— Ты покушал? Кофе выпил?

Он говорит:

— Мама, я уже не могу этого слышать…

* * *

Мамин брат, возвращаясь с фронта, заехал в Сталинград. Увидев бедственное положение сестры, перебивающейся с хлеба на воду вместе с дочерьми, он предложил одну из девушек прислать к нему в Астрахань — учиться.

Алиса к тому времени выдержала огромный конкурс в фельдшерско-акушерскую школу. Забегая вперед, скажу, что она ее окончила на «отлично», а после, в числе пяти процентов таких же отличников была зачислена в медицинский институт.

Мама предложила мне с помощью ее знакомого устроиться на завод — лаборанткой. Но за плечами у меня было только семь классов. Такую неквалифицированную работницу могли уволить в любой момент.

Надо было окончить хотя бы техникум. Я решила воспользоваться предложением дяди, и поехать в Астрахань. Этот город война пощадила. Учебные заведения остались целы — можно выбрать, куда поступать.

Я поехала с большим деревянным чемоданом. Мама предупредила, чтобы я была осторожна — вокруг столько воров! Мне купили билет четвертого класса — эти места находятся в трюме. И собрали немного еды в дорогу. Помидорок мама принесла с рынка, еще чего-то…

А вы бы знали, как я наголодалась! И без конца доставала ключ, открывала большой замок на чемодане, доставала кусочек какой-нибудь еды — то помидорки откушу, то от хлеба отщипну — и опять чемодан закрываю. Голову на него кладу. Там были такие решетчатые лавки и чемодан вместо подушки.

В конце концов, соседи, которые ехали рядом, не выдержали.

— Девочка, ты уж достань, что там у тебя… Покушай, наешься… Ты же каждую минуту — открываешь чемодан, закрываешь… И не надоело тебе…

Действительно, надо было взять какую-то порцию, и потом хотя бы час или два не есть.

Приехала я в Астрахань ночью, часа в три, и пошла по улице. А в то послевоенное время — было много жулья. Раздевали, избивали… Но меня Бог хранил. Дошла я благополучно до

дядиного дома.

Но как же была недовольна его жена! Они оба ахнули, что я приехала… Не ждали…

Когда-то, в трудные годы, мама сделала немало доброго для своего брата. Подкармливала его. Он вспоминал, какие она делала вареники с каймаком — это такая сметана топленая, с пенками. Вареники плавали в каймаке. А отец дядю вообще спас от расстрела — об этом я уже рассказывала.

И вот дядя вроде бы вознамерился отплатить нашей семье добром за добро, но ничего не вышло. Его жена… Это была его вторая жена… Первую он привез из Ульяновска. Ее звали Лидой. Она была дочерью известных врачей. Красавица, волнистые волосы. Очень хорошо шила. Из бабушкиных обносков нашила мужу таких рубашек, под старину… Он в них ходил. И носил галстук — «бабочку».

Еще — она замечательно рисовала. И в карандашах, и в красках. Помню рисунок, он мне особенно нравился… Заборчик: несколько кольев и два бревнышка, и на верхнем бревнышке сидят двое, а на нижнее — ножки поставили. Боком повернулись, и целуются…

…Как-то раз Александр с женой поехали за город. Мама с ними была, и бабушка. Поехали на подводе — отдохнуть, в воскресенье. Догнала их грузовая машина. За рулем — молодой парень. Увидел красивую женщину — Лида сидела с краю, только ножки с подводы свешивались. Шофер решил пошутить. Стал подъезжать вплотную к ее ногам. И в последний момент — свернул. А она напугалась — и именно в эту вот секунду спрыгнула с подводы. И попала под колеса. Насмерть.

Потом муж в морге носил ее на руках и читал стихи. Он раньше никогда не читал стихов, а тут у него прорвалось. Стихи о любви.

И когда я родилась — меня назвали Лидой — в память о ней. А дядя Саша долго не женился. Но потом нашел эту, прости Господи, дуру. Она его никуда одного не отпускала. Даже на футбол вместе с ним ходила. И на работе — сидела рядом и вязала чулки. Он главный бухгалтер, вокруг люди, а она сидит и смотрит, чтобы никто из молодых женщин-бухгалтерш не вздумал с ним кокетничать. Тогда же время послевоенное, мужчин мало… А Александр Кузьмич был красивый. Волосы кудрявые, одевался как артист.

Один раз женщины затеяли пригласить его на праздник. Попросили — может быть, вы как-нибудь вырветесь? Стол уже будет накрыт…

И он пришел. Но в самый разгар веселья за ним явилась

супруга. Уже вино разлили по фужерам… Она как взялась за края скатерти, как рванула — все на пол… И мужа увела.

Остались женщины и без Александра Кузьмича, и без угощенья.

Так вот, поселили меня дядя с тетей в коридорчике. Как там было холодно! Вода в ведре стояла ледяная. А я и так намерзлась в Сталинграде, поэтому особенно страдала.

И еще я голодала. Дошло до того, что объедки поднимала на базаре. Карточки свои мы сдавали в техникум, и раз в сутки нас кормили. Давали только обед. Утром встаешь голодная, идешь на учебу и сидишь восемь уроков — четыре пары по два часа. Потом бежишь в столовую получить суп. В этой миске было всё, все наши «талоны». Не рыба даже, а кости рыбные плавали в супе — успевай их только выплевывать. И перловка. Хлеб я берегла на ужин, иначе не заснешь.

А дядя, оказывается, написал заявление, что к нему приехала племянница из Сталинграда: раздетая, разутая, лишившаяся в войну всего. И ему выписали по пятьдесят килограмм сахарной свеклы, картошки, и много чего другого. И все это было спрятано в лари. Все заперто. Уйдут дядя с тетей на футбол — я подойду, замки потрясу. Сахарная же свекла — она сладкая как мед… Мне так хотелось хоть кусочек… Но замки большие, надежные… Я их потрясу и отойду.

Как-то раз я зашла в их комнату — там были голландка и плитка. Я хотела налить из чайника горячей воды. Так тетя меня ударила между лопаток и вышвырнула в коридор. Пришлось зачерпывать воду из ведра, что стояло в моей комнате. Я хотела запить свой кусок хлеба. А в этой воде плавал лед.

…А потом они захотели, чтобы я обрезала косы. Мне бабушка в войну их сберегла — мазала голову керосином. Бельевые вши были, а голова — чистая. И тут… эта… требует… чтобы завтра же кос не было. Сколько можно издеваться?

— Нет — говорю, — Не обрежу.

— В чужой монастырь со своим уставом не ходят! Не хочешь слушаться — так пока пароходы не встали, отправляйся домой, в Сталинград, — отвечают мне.

А куда я поеду — от бывших одноклассников я уже отстала. Идти бутылки мыть на завод?

Тогда я пошла к директору техникума, рассказала ему о своем положении, и попросила место в общежитии.

Но общежитским тоже приходилось несладко. Углы строения промерзали, постельные принадлежности, которые выдавали студентам, не вещи — слёзы. Одеяла тоненькие, байковые… Лишь

крепкие здоровьем ребята и девушки могли освоиться с таким бытом.

Директор посоветовал мне найти место на частной квартире. Пообещал платить за меня 50 рублей в месяц и давать хозяевам два кубометра дров.

И такое место нашлось. Мне попались замечательные люди. Он — капитан милиции, она — домохозяйка, и больная девочка у них, которой врачи давали лишь несколько лет жизни. Отнеслись они ко мне, как никто из родственников не относился.

Койку я сама выбрала. За печкой — там тепло.

Сперва хозяева меня подкармливали — садились есть и мне наливали. Потом предложили: «Отдавай нам карточки, будем питаться все вместе». Им из деревни привозили мясо, пшено… Я каждый год — до сих пор — отмечаю 28 октября, день, когда к ним перешла. Без них я бы в Астрахани погибла.

Мне и другие добрые люди встречались. Иду по улице, снег с дождем, а на мне тети Полины туфли-лодочки. Она 39-й размер носила, а у меня 34-й, наверное. Туфли с ног сваливаются, размокли.

Навстречу дядечка:

— Девочка, да кто же в такую погоду ходит в туфельках?

— Я из Сталинграда, у меня больше ничего нет.

— Ну, зайди ко мне.

Он оказался сапожником, у него был свой киоск. Помог мне с обувкой.

Еще я не могу не сказать о своем друге. В Сталинграде, совершенно случайно — мы ехали вместе с подругой — я обратила внимание на юношу. Красивый, и на нем была такая фесочка с кисточкой.

— Аля, не знаешь, кто это? — спрашиваю.

— Это же Петр Степаненко.

Его отец был директором ликеро-водочного завода. А сам Петр напоминал главного героя фильма «Тимур и его команда» Я этот фильм смотрела раз двенадцать, и без памяти влюбилась в Тимура.

Видно подруга потом о чем-то проговорилась — Петру или его товарищу. Но они ко мне пришли — Гера и Петя.

— Когда ты едешь в Астрахань? — спрашивают.

С той поры началась наша с Петром дружба. Он тоже отправился в Астрахань, поступил в мореходное училище. Я училась на втором курсе, а он на первом.

У него была красивая форма. Он меня водил и в театр, и в клуб. Исключительно со мной обращался: так вежливо, и в то же

время так нежно…

А как он катался на коньках! Шинель сбросит, и такое начинает выделывать… ноги вытягивает выше головы… А ведь такой рослый, здоровый парень. Мама говорила: «Он, наверное, руку тебе на плечи положит — и у тебя все косточки хрустят. Ты уж не подходи к нему близко…»

Помню, он собрался повести меня на вечер в свое училище. У них там целый оркестр был: Петр хорошо играл на гитаре, Гера, его друг — на мандолине, и Олег на балалайке. Они так славно песни морские пели!

Хозяйка дала мне свою юбку и кофту креп-жоржетовую. Она — высокая, а я маленькая, худенькая. Никак не могла поправиться. А тогда длинное не носили. И Петр стоял на коленях, и все это ушивал на мне. И здесь, и там. Отходил, и смотрел — не надо ли еще убавить… А потом сказал тихо:

— Какая же ты была бы, если б тебя одеть…

И еще раз он подобное сказал. Когда вернулся из дальнего плаванья. Мы сидели, и он смотрел на меня.

— Был я и в Португалии, и в других странах, но нигде не встречал таких ног, как у тебя…

Я не знала, что он нашел в них особенного, я же была худющая как палка.

Когда мы с ним в первый раз поцеловались… я летела на крыльях, оттого что у меня есть такая тайна. Никто о ней не знает — только я и он. Такой секрет на весь мир…

Такие чистые тогда были отношения…

Мы с Петром оба скучали о Сталинграде, считали дни, когда поедем домой. Пароходы тогда ходили колесные. «Микоян», «Эрнст Тельман», «Парижская коммуна». Я смотрела на колеса — как люди могли сообразить, чтобы сделать все так ловко, ладно — и вот машина пыхтит, как человек, при каждом повороте… А когда пароход подходил к Сталинграду, у меня слезы текли, и я читала стихи:

Здравствуй, здравствуй, друг мой дорогой
Здравствуй, город над рекой…

И как раз в училище у Петра я встретила Владимира Николаевича. Я увидела его в морской форме. Спросила у Степаненко — кто это? — и, услышав, знакомую фамилию, бросилась старому другу на шею. Мы оба плакали.

В Астрахани Владимир Николаевич жил на квартире. Я стала

по воскресеньям приходить к нему в гости. Он старался угостить меня повкуснее. Заранее ходил на рынок, покупал мясо. Говорил торговцам:

— Вы не представляете, для какого гостя я беру эту свинину… Для 16 летней девушки!

А я так и не смогла привыкнуть к изысканно приготовленному блюду. В нашей семье не ели мясо с кровью! Я думала, что коричневая прослойка внутри куска — это варенье.

— Когда-то к моему отцу приходили в гости англичане, — рассказывал Владимир Николаевич, — Если мясо было пережаренным, они в рот его не брали. Обязательно внутри должна быть прослойка крови. Это придает особый вкус, аромат… Ты распробуешь, и сможешь есть только такое мясо.

Но, отвыкший от полноценного питания, желудок мой не воспринимал угощенье. Я возвращалась домой, и мне становилось плохо. Был только одни выход — два пальца в рот.

Владимир Николаевич читал зарубежную литературу в подлинниках. Великолепно знал французский, говорил, что дома у него по-русски обращались только к прислуге.

Он давал мне деньги на чулки. И помог сделать диплом.

Ума у меня не было — такой сложный дипломный проект взяла! Рефрижератор. Там листов двенадцать. И в поперечном виде, и в продольном, и все установки надо было начертить. Помогли ребята из мореходного училища. Три мальчишки — отличника пришли с логарифмическими линейками. И Владимир Николаевич помог — он был моим консультантом.

И еще, в одном очень неприятном случае он меня выручил. У хозяев пропали деньги. Много. Целая зарплата. Хозяин сказал, что, скорее всего, виновна подруга дочери — она очень вороватая. Лида же, мол, украсть не могла ни в коем случае.

Я ведь плакала от счастья, что у них жила. Считала, что всю жизнь буду им за это обязана помогать. И вот, когда деньги пропали, я с огромными слезами полетела к Владимиру Николаевичу. Он тут же оделся, и пошел со мной к хозяевам.

Сказал им, что деньгами пропажу вернуть не может, но договорится с училищем — чтобы доставили им восемь кубометров дров. Это покроет убыток.

Дрова привезли. А деньги вскоре нашлись.

…Владимир Николаевич умер, когда я уехала на Дальний Восток. Он шел на работу, уже подходил к мореходному училищу, но упал и умер. Обширный инфаркт.

Курсанты шли строем за его гробом… Салют был над могилой.

А мы с ним переписывались, и после — в его комнате увидели портрет — он увеличил мою фотографию, и еще там лежала стопка моих писем.

Его командование прислало эти письма мне на Сахалин. И еще кое-какие его вещи. В сопроводительном письме было написано, как Владимир Николаевич умер.

Я получала письма на центральном телеграфе. И когда открыла конверт, и прочла, и до меня дошло — я отбежала в угол, и рыдала, наверное, на весь зал — что не успела Владимира Николаевича, которого любила как отца — взять к себе жить.

— Лидия Николаевна, а практику вы проходили?..

— На комбинате Микояна. Там делали балыки, и вялили воблу, и изготавливали консервы из осетровых рыб. Много всего! Кушать там можно было, а вот с собой унести — ни Боже мой.

Одну девочку поймали. Она была родом из села, в Астрахани жила где-то в общежитии. И видно — закончились у нее деньги… Так она, там где резинки от чулок, попыталась спрятать селедку. Несколько рыб, меньше чем на полтора килограмма.

Устроили показательный суд! Собрали весь коллектив комбината — более двух тысяч человек. Девочке этой дали восемь лет — столько же сколько ярым ворам, рецидивистам — чтобы запугать рабочих, чтобы ничего больше не выносили.

— А почему распределение Вам дали так далеко, на Сахалин?

— Это целая история. Хозяин мой квартирный, Илья Павлович, хотел устроить меня в систему МВД, где работал сам. Он вообще частенько повторял, что я — его старшая дочь. Забавно: мне 16 лет, ему 33. Но я не хотела в МВД — зачем тогда училась, мучилась с дипломом?

Я хотела работать по специальности.

Но неожиданно нам — мне и нескольким девочкам — представилась возможность на льготных условиях поступить в Рыбвтуз. Наш преподаватель был назначен председателем приемной комиссии. Он нас и позвал. Кстати, мои подруги окончили этот институт, впоследствии стали директорами заводов.

И я обрадовалась, что выпало такое счастье — получить высшее образование! Но прежде чем принять окончательное решение, нужно было посоветоваться с мамой, съездить домой.

Помню, Илья Павлович повел меня тогда на рынок, и купил туфли на каблуках. Первые в жизни нарядные туфли! Все переплетенные такими хлястиками, сеточкой, а каблук высокий — высокий…

Я сейчас думаю — хозяева не настаивали, чтобы я осталась,

потому что у них умирала дочь. Впереди трагедия, похороны. И держать меня еще пять лет у себя…

Когда я приехала в Сталинград, мама медлила с ответом. Переговорила по телефону с Ниной. И конечное ее решение было таким:

— Учиться никогда не поздно. К тому же — не стоит поступать в институт по блату. Некрасиво это, надо надеяться только на свои силы. Сейчас учатся старшие, помоги им получить образование — зарабатывай, высылай деньги. А потом они вдвоем станут учить тебя — ты окажешься в льготном положении.

Делать нечего, вернулась я в Астрахань с таким ответом. И приехала комиссия, которая занималась распределением. Помню, возглавлял ее министр рыбной промышленности Бабаян. Мы все толпились в коридорчике, нас вызывали по одному, рассматривали личные дела, беседовали…

Зашла я … Сидит министр — маленький, толстенький. Увидел, что перед ним совсем девочка, и стал со мной разговаривать, как с маленькой.

— Предлагаю вам Уссурийский край — там интересно, тигры.

— Да дело-то не в тиграх, — говорю, — Мне сестер учить надо.

Рассказала, что одна учится в мединституте, а другая только что поступила в аспирантуру.

— О, тогда я вам хорошее место подберу… Смотрите — вот Дальний Восток, а вот Сахалин… Всего только этот пролив переехать — он как ниточка, и все равно вы уже не дома — но станете вы получать намного больше, согласно коэффициенту. В два раза больше. Учите на здоровье своих сестер! Правильное вы решение вынесли, умное!

— Как же Петр вас отпустил?

Все эти годы мы с ним были неразлучны. Придет он к моей хозяйке, тете Фае — дров наколет, воды натаскает, мяса нарубит… мы ели кондер — мясной суп с пшеном.

В церковь меня Петр провожал. То за святой водой, то просто на службу… А храм после войны был битком забит. И вот надо идти за просвирками, или за водой… Петр вот так… тихонечко людей раздвигал, такая сила у него в руках — я шла, как по открытой дороге…

Тетя Фая часто лежала в больнице, и я старалась помочь семье, чем могла. Шла на рынок — там продавали черную икру. Ее заворачивали в пергаментную бумагу — откроешь, она плавает в жиру… Куплю булочку, икры — и еду к тете Фае в больницу на другой конец города.

Илье Павловичу стирала белье. В корыте, на доске. Я сама худенькая, маленькая — как уж я стирала, хорошо — или плохо — не знаю. А только один раз решила постирать байковое одеяло, которое мне в техникуме дали. Под расписку дали, чтобы я, уезжая, вернула. Да и расщедрились-то потому, что я из Сталинграда.

Я одеяло замочила в холодной воде, потом выстирала — оно такое хорошее стало, желтое. А повесила на веревку сохнуть — глянь, и нету. Стащили. Как меня потом главбух ругал!

— Знаем мы вас, аферистов! Ты его, наверное, продала…

Я стою и плачу:

— Ну честное слово — я его так хорошо отстирала, оно такое было чистое… Выхожу — смотрю, веревка пустая…

И вот, когда я заканчивала техникум — Петр с ребятами отправился в дальнее плаванье. В загранку, на практику. Я пришла его провожать на пристань. Там красивейший зеленый парк, народу много… Петр сказал, что они уезжают на два месяца.

Но он соврал, они вернулись раньше.

Проводила я Петра и поехала в Сталинград. И почувствовала себя такой свободной! Встречалась там с мальчиками, которые обеспечивали меня музыкой, пластинками… Перед одним, Виктором, я преклонялась — он хорошо учился, был спортсменом, носил значок парашютиста, крутил на турнике «солнышко». Днем мы загорали на пляже, а вечером гуляли по улице Ленина, по местному Бродвею.

И вдруг, смотрю, тетя Поля бежит.

— У нас во дворе сидит Петя, ждет тебя.

Я испугалась. Он такой здоровый был, большой — просто за руку возьмет моего кавалера, и мокрое место от него останется. Отправила я Виктора домой, а сама пошла гулять. И вернулась только в два часа ночи. Петра уже не было.

А утром я уехала в Астрахань — получить подъемные, сдать книги в библиотеку.

Илья Павлович мое поведение осудил.

— Я запуталась, — говорю, — Петр красивый, но не спортсмен, а тот уж очень хороший спортсмен. И музыкой меня обеспечивает. И какого выбрать, я не знаю…

— Зачем тогда им головы морочила?

Но когда я вернулась в Сталинград — хоть бы слово мне Петр сказал! Никто никогда со мной так нежно не обращался. Мы встретились, как будто оба только что вернулись.

И я придумала видеться с Виктором по утрам, приходила к

нему в гости. Его семья жила в венгерских коттеджиках. Такая идеальная чистота у них была! Бабушка пекла тоненькие блинчики, сверху клала чайной ложечкой джем. И чай ставила, так что завтраком мы были обеспечены.

А потом мы с Виктором общались, разговаривали. Петр — он мало говорил, больше делал нужную работу. Виктор же рассказывал, и я слушала, разинув рот. Но Петя, наверное, догадался о наших встречах и стал приходить с утра. И, в конце концов, сказал:

— Передай Виктору, чтобы после шестого августа его не было в Сталинграде.

— Так ты со мной говори по этому поводу… — отвечаю.

— Запомни на всю жизнь — что б ты ни выкомаривала, я до тебя никогда и пальчиком не дотронусь. Все разговоры буду иметь с твоим корешом.

Виктор собрался и уехал — не захотел связываться с Петькой. Тот как-то умел всех ребят держать в узде — своей силой, уменьем драться. Когда он в Астрахани поздним вечером возвращался через весь город в мореходное училище — я была спокойна. Знала, что хулиганы его обойдут стороной.

Мы с ним переписывались после того, как я уехала на Сахалин. Он все надеялся, что я выйду за него замуж.

Сахалин

В Москве я с трудом достала билет до Хабаровска. Ехать предстояло на самой верхней, третьей полке, где обычно лежат постели.

— На ночь-то их снимают, — сказали мне, — Вот и будет тебе, где спать. Бери, а то еще месяц просидишь на вокзале.

В вагоне я оказалась вместе с молодыми ребятами, геологоразведчиками. Песни под гитару, нескончаемые разговоры… На маленьких станциях продают горячую картошку в кулечках из газет, непривычные, диковинные сибирские ягоды, кедровые орешки, копченых омулей.

Потрясающее зрелище — Байкал. Поезд идет по самому краю его, вода — хрустальная. Даже страшно — кажется, вагоны вот-вот съедут в глубину.

Там же я увидела на высокой скале — бюст Сталина, его сделали заключенные.

Из Хабаровска нужно было ехать во Владивосток. На всю жизнь мне запомнилось тамошнее сливочное масло — соленое. Вероятно, его везли из Москвы и, чтобы не испортилось, добавляли соль. Долго я к нему привыкала, а годы спустя, вернувшись в родные края, не могла есть обычное масло — оно казалось пресным.

Добираясь на пароходе до Сахалина, я все вспоминала министра Бабаяна. Говорил, пролив как ниточка, на карте показывал… Однако, пароход шел несколько суток. Меня насмерть укачало.

— И это Тихий океан? — пытались шутить пассажиры, — Какой же он Тихий…

Билет у меня был в четвертом классе, в трюме, где качка кажется особенно жестокой. Одна из дорожных попутчиц пригласила к себе в каюту. Так мы и лежали валетом в подвесной койке — голов поднять не могли.

По прибытии на Сахалин меня ждало жестокое разочарование. Отправили на отдаленный рыбзавод. Пятьдесят километров от комбината. Ни бани, ни библиотеки, ни кино. Только тайга — и Японское море.

Завод и заводом-то назвать нельзя — так, сараи какие-то. Основная рабочая сила — заключенные. Утром их приводят, на ночь уводят.

Я шла ночевать в избушку. Кроме меня там жила бабушка с

детьми.

Один из ее сыновей сказал мне:

— Трудно тебе придется. Вот сейчас осенняя путина закончилась. Но зима пролетит мгновенно. Весной рыбаки снова начнут привозить рыбу. Труд их нелегкий, и они требуют оценивать весь товар первым сортом. И рыбу сразу надо пускать в дело, перерабатывать… Хватит ли у тебя — у мастера — физических сил? Чтобы принять рыбу первым сортом, а выпустить высшим. Только тогда ты будешь иметь прибыль. А нет — так ведь попасть в тюрьму — раз плюнуть.

Работа у рыбаков и вправду тяжелая. Их по двенадцать человек в кунгасе. И волна вышиной с дом — то поднимает, то опускает кунгас, тогда долго-долго рыбаков не видно. Плачешь, думаешь, что они утонули. Море кипит, как в котле. У рыбаков сетки, лебедкой они эту рыбу вытаскивают…

И, конечно, они хотят получить самую высокую плату за свой труд.

А тут лаборант смотрит — не помята ли рыба, сохранилась ли на ней чешуя, на анализ берет — и то второй сорт присваивает, то третий. И рыбаки могли с кулаками броситься — рыба же только что из моря, свежайшая.

Заключенные носили рыбу с берега на носилках. Носилки тяжеленные. Они порою выматерятся — если меня не видят. Но если поймут, что я была поблизости и слышала — обязательно извинятся.

Я до сих пор вспоминаю это, потому что сейчас люди совсем другие. Там заключенные просили прощения! А сейчас я стараюсь после одного случая не делать молодежи замечания.

Недавно к нашему дому подъехала «скорая». Я вышла и смотрю — лежит молодой парень. Худой, кожа да кости. Руки грязные, на подбородке — засыхающие следы рвоты. Может, и вправду бомж, но ведь человек же… Приехала молодая фельдшер. Босоножки на ней в бусинках, на высоких каблуках. Разве можно на «скорой» с такими каблуками? Там только успевай по этажам бегать. И с фельдшерицей — молоденький медбрат.

— Парень из вашего дома? — спрашивают.

— Нет.

И тогда эта медичка заявляет:

— Поехали!

— Девушка, послушайте меня… Я врач с пятидесятилетним стажем. Не берите на себя такую ответственность. Он без сознания. Нужно, чтобы его посмотрел невропатолог — на предмет черепно-мозговой травмы, потом необходимо исключить

отравление…

— Бабка, — говорит эта особа, — Ты куда шла? Вот туда и иди…

— Кошку, — говорю — увидишь больную, и то не пройдешь мимо. Что же вы так с человеком?

И тогда парень, что сидел за рулем, спрыгнул наземь:

— Берем…

Вместе с медбратом они перенесли этого несчастного в машину. А фельдшерица только каблучками топотала, чтобы на носилки его не клали.

Потом выяснилось, что отвезли они его не в больницу, а в милицию. Да он и пьяным-то не был — я над ним наклонялась… Бедный… Я знаю, что порой бывает с людьми в вытрезвителе… Лучше бы умер у нашего дома, на ветерке…

И вот, возвращалась я после работы в свою избушку. С одной стороны — тайга, с другой море шумит, как котел, и как будто надвигается на наш домик. И я не выдержала. Выбрала время, когда поднялась метель — и пошла за пятьдесят километров в Холмск, к своему начальству. Падаю, на коленки встаю, потом опять иду… Всю ночь шла, весь день и еще ночь. Мне было 19 лет.

Пришла и спрашиваю:

— За какие провинности вы меня в такую глушь направили? Я что, Ленина убила?

— Выйдите, — говорит начальник.

— Не уйду!

Я его на части готова была разорвать. И выписали мне направление в Невельск. Это значительно южнее, и это все же — город.

Назад я тоже добиралась пешком. Только в баню в Холмске сходила. И еще послушала приемничек. Я его слушала и плакала — потому что много месяцев была без радио, без связи с «большой землей».

Возвращаюсь, а отпускать меня не хотят — путина на носу. И тогда мне на помощь пришел один случай. Как-то раз, к нам на рыбзавод приехал начальник погранзаставы. Молодой капитан. Он приехал узнать — сколько у нас кунгасов. Сколько из них в море?

Потом мы с ним долго сидели на огромном выкорчеванном бревне и разговаривали. Это было такое удовольствие — поговорить с культурным человеком! Заключенные же все с изменением психики, да и не разрешалось с ними общаться. А этому капитану я душу излила, рассказала, как мне здесь одиноко.

И седьмого ноября он приехал еще раз — пригласил меня к себе в часть. Там к празднику организовали концерт самодеятельности, танцы. Столы были накрыты. Домой он меня привез уже к утру.

Когда я вернулась с направлением в Невельск, и главный наш технолог Александра Ивановна не пожелала меня отпускать — я сказала, что живу с этим капитаном гражданским браком. Расписаться мы не можем, потому что он женат. И теперь его переводят в Невельск, а я должна ехать за ним.

Это такой позор в то время был — гражданский брак!

— Я тебя считала порядочной девочкой! Молчи, ни одного слова не говори! Я с тобой не хочу больше разговаривать! — кричала Александра Ивановна.

А когда документы отдали — я сказала:

— Ваше первичное мнение обо мне остается в силе. Я просто не могла тут больше выдержать.

Невельск по сравнению с нашим рыбзаводом, показался мне Москвой. Огромный комбинат, различные цеха. И консервный, и коптильный, даже открыли новый — витаминный.

Витаминных заводов в стране было только пять. А эта продукция так необходима! В печени трески, акулы — много витаминов «А» и «Д». И человеку не надо думать о том, чтобы принять какие-то таблетки.

Я старалась работать на 250 процентов. Домой практически не ходила. Стол подвину к батарее и чувствую — если бок не жжет — значит, кочегары в котельной дремлют. Были котлы — котляревский однотрубный и ланкаширский двухтрубный. Аппаратура вся японская — рухлядь. В то время все японское — было плохое.

Однажды приходит седой мужчина из «Котлонадзора». Я только обедать побежала — и зовут. Мол, иди, он ругается, столько недостатков нашел, в любой момент все на воздух может взлететь. Прибегаю. Я ростом маленькая, за спиною длинная коса с черным бантом, как тогда носили.

— В чем дело?! — спрашиваю.

— Мне нужен начальник цеха.

— Я перед вами стою.

Его парализовало. Он думал — мужчина придет, и уж он с ним поговорит… Потом засмеялся, обнял меня и подвел к эти котлам:

— Милая моя девочка, ты знаешь, что это за машинки стоят?

А мы эти котлы изучали по теплотехнике. Ланкаширский и котляревский.

— Вот эти моменты, что я тебе объясню, нужно исправить в

ближайшее время. Никакого протокола не буду писать, и штрафа не наложу. Но приеду — проверю, не исправите — взрыв будет.

Справиться с проблемой помог слесарь высшего класса Крылов. Он за абы какую работу не брался — ремонтировал только морские большие суда. Я пришла к нему домой, попросила…

На четыре месяца я ездила в Москву учиться. Приехали начальники цехов — мужчины, из женщин — только я, и мне 20 лет. Все недоумевали — откуда этот ребенок взялся?

Нам читали лекции профессора из московского рыбвтуза. Помню преподавателя химии, который рассказывал о чудесах, которые может творить эта наука — даже омолаживать человека.

— Вы нам откроете этот секрет? — спросила я.

— Ни за что. Нам придется потом нести вас отсюда в пеленках.

В Невельске я жила у хозяев — муж с женою и их мальчик Миша. Дом одноэтажный, длинный. Входишь — налево и направо — двери, двери…

И вот как-то я вхожу, а за мною — молодой человек. Снимает шапку, отряхивает снег… Я на него смотрю. Такой он приятный, и есть какая-то изюминка в нем. В серых глазах читается недюжинный ум. Потом я узнала, что в вечерней школе он учился на одни пятерки. Взгляд серьезный, и красивые волосы…

Он почувствовал, что я его разглядываю.

— Вы хотели мне что-то сказать? — спрашивает.

А в то время считалось стыдным девушке первой показывать интерес к молодому человеку.

— Нет, — говорю, — У меня просто замерзли руки.

Сняла перчатки. Он подошел, сложил вместе мои ладони, наклонился и начал дыханием согревать. И я разглядела — какие у него были волосы! Как павлиньи перья, когда павлин распустит хвост. Сияющие, каштановые, крупные кудри, аж переливаются…

Я вошла к себе, а он — в дверь напротив. Спрашиваю у хозяйки:

— Что это за мальчик?

— Виктор Никифоров…

Немного погодя Виктор принес утку. Он сибиряк, из Омска, они там все охотники. Отдал моей хозяйке:

— У вас гостья… накормите девушку…

А потом я заболела тяжелой формой ангины. Лежу с высокой температурой, вся в поту, сил нет пошевелиться. И входит Виктор. Посмотрел внимательно.

— Вам надо переодеться… Нельзя лежать в таком мокром. Где ваше белье?

— Под койкой, в чемодане, — говорю чуть слышно.

Он вынул мою рубашечку, простыню, положил рядом.

— Хотите — я отвернусь или уйду.

— Отвернитесь, пожалуйста.

Я кое-как переоделась, села на стул, он заправил койку сухим бельем.

Потом хозяева рассказали мне о судьбе этого мальчика. Его родные из небольшого поселка, под Омском. Бабушка пила, весело проводила время… От кого-то — Бог весть — родила девочку, Дашу. А потом в этот поселок приехал цирк. И женщина уехала вместе с артистами — грузинами. Может быть — в пьяном угаре? Но малышку она оставила в нетопленой хате.

А неподалеку жили дедушка и бабушка, по фамилии Никифоровы, которые когда-то дали Богу обет взять и воспитать сироту. И старушке сказали, что в одном доме надрывается от крика ребенок. Бабушка вошла в комнату в овчинном полушубке — настолько там все выстыло, а девочка, которая уже опухла от слез, была укутана лишь в тряпки. Посадила бабушка ее в фартук, укрыла пальто и принесла дедушке Никифорову.

В метрике у девочки было записано — Дарья Васильевна Андреева. Дедушка с бабушкой воспитали ее, устроили работать в горком партии, секретарем-машинисткой.

По словам Дарьи — сына Виктора она родила от секретаря горкома. Оставила малыша бабушке, как когда-то ее самою оставила мать, начала пить, сошлась с мужчиной, у которого были свои дети.

Виктор учился в четвертом классе, когда старушка умерла. Он навсегда запомнил ее похороны. Приехал сожитель матери, бабушку положили в гроб из неотесанных досок, и на такой скорости гнали машину на кладбище, что мальчик боялся — его выбросит из кузова.

Забрав Виктора к себе, мать уделяла ему не слишком много внимания. Покупала на день банку молока и немного хлеба — тем забота и ограничивалась. А когда женщина окончательно спилась — завербовалась на Сахалин, стала кладовщицей.

Сам Виктор работал с пятого класса: на материке — помощником столяра, на Сахалине устроился в военкомат. Ходил в вечернюю школу, а потом решил поступать в среднее военное училище. Вырваться из тяжелой домашней атмосферы. В комнате постоянно царил беспорядок, здесь жила собака, которая то и дело рожала щенков, а мать не позволяла их раздавать. Даже

одежду Виктору утром приходилось вытаскивать из-под собак — мать подстила им его пальто, чтобы было помягче.

Зимой юноша ходил в резиновых сапогах. А деньги, предназначенные на брюки, мать и вовсе пропила. Виктор был в отчаянии — удастся ли в такой обстановке закончить восьмой класс? Учился он отлично, получал похвальные грамоты, но ведь ему не в чем было ходить в школу…

Это был умный, прекрасный молодой человек. И я видела, что военным он собирается стать только для того, чтобы уйти из дома. В душе же он мечтал о профессии хирурга.

И я пообещала ему помочь.

Купила ему пальто, полусапожки на меху, брюки, шапку. Мать его пришла и устроила скандал — что мне надо от ее сына? Она ходила и в военкомат и в горком комсомола, чтобы меня пристыдили. Меня вызывали, беседовали, а заканчивалось все одним. И военком, и молодые ребята из горкома пожимали мне руку, желали нам с Виктором никогда не расставаться и пронести свою любовь через всю жизнь.

И все же, история эта была мне настолько неприятна, что я сказала Виктору:

— Больше мы общаться не будем, только «здравствуйте» и «до свиданья».

Вы бы видели, в какое отчаянье он пришел! Встал на колени, слезы потекли по щекам:

— Единственный луч света появился в моем темном царстве — и я его теряю… Завтра же пойду в лес и застрелюсь…

И тогда я решила — будь что будет, но я его не брошу.

Мы зарегистрировались в 1952 году, перед тем как мне ехать учиться в Москву. Виктор ходил в 10 класс. Нам дали комнатку. Вначале Виктор сколотил топчан, потом уже мы купили коечку, начали обустраиваться.

После окончания школы он отправился сдавать вступительные экзамены в мединститут. В Хабаровске, в медицинский был огромный конкурс. А в Благовещенске открывался новый институт. Туда он и поступил.

* * *

Деньги я все рассылала: регулярно — маме, по праздникам — Нине, а теперь еще и Виктору. Мне оставалось 200 рублей. Поэтому по вечерам я шла трудиться рабочей, на пирс.

Рыбу доставляют, в цехах идет ее разделка, из трески делают филе, упаковывают в ящички — и в морозильные камеры. А

потом уже отправляют рефрижераторами — на «большую землю».

И вот нам с напарницей надо погрузить рыбу на носилки, вывалить на стол, там вода течет — чтобы все обмывалось, было кипенно-белым… Не дай Бог какая чернота попадется внутри рыбы — это снижало сортность…

Я приду домой, и одно меню у меня было. Сварю гречневую кашу, положу в нее томатную пасту и головку лука мелко порежу. Хотелось острого. Да больше я ничего и не могла себе позволить.

Но Виктора я одела «с иголочки». Два костюма ему купила — коверкотовый, и для повседневной носки. Человек же учится…

План я выполняла на 150–250 процентов. В три смены работала. Рабочих замучила, объясняя, как стране нужны витамины.

Но стоила наша продукция дешевле горбуши, кеты, и тем более разных копчений, балыков… Капитаны не хотели ее брать — только если останется место на корабле. А места никогда не оставалось. И если уж пристроят наши витамины — то где-нибудь на палубе, а там их и смыть волной может. А оставшиеся коробочки заржавеют от брызг соленой воды.

И тогда я пошла на берег. Шторм, корабль не может подойти… До того насмотрелась я на бушующее море, что тошнить начало. Но знала, что не уйду и сутки, и двое — мне надо попасть к капитану. Наконец подошел корабль, провели меня. Сели мы в каюте — я, капитан, старпом… И начала я им рассказывать то, что нам объясняли.

Ну и что, что витамины дешево стоят… По своей значимости — они в сто раз важнее всяких там балыков. Они необходимы трудящимся. Ведь мои собеседники — коммунисты, понимают политику партии…

И капитан поверил мне. Приказал выделить лучший трюм.

Я очень серьезно с ними говорила, потому что — такие шутники на кораблях были, так хулиганили… Одну мою коллегу пригласили в каюту, открыли бутылку шампанского… Она поднимается на палубу — видит, корабль уже в море. А у нее мальчик дома один остался. Бедняга в слезы… Сошла в Холмске, оттуда поездом домой…

Так что держалась я строго, и все сладилось.

Я узнавала, когда приходит «Умба», ждала ее. Капитан со старпомом стали мне как родные. Если у меня не хватало партии на отгрузку — я не ходила их встречать. Так они сами — сядут на катер, приедут…

— Мы хотели узнать, здоровы ли вы? С корабля в бинокль смотрели — вас нет. Ничего не случилось? Будете отгружать?

— Слишком вы быстро вернулись, — говорю, — Давайте-ка я лучше в этот раз угощу вас. Попробуйте «А» — это ведь витамин молодости.

— Да нам вроде еще рано.

Старпому лет двадцать семь было. Смотрю я в его голубые глаза и говорю:

— А в прошлый раз они голубее были… Теперь цвет немного поблек. Знаете же, с возрастом… Замечали, какие бесцветные глаза у стариков… Зачем до этого доводить? Давайте, заверну вам несколько банок…

— Ну, спасибо…

…Когда я приехала из Москвы — увидела, что на складе скопилось столько витаминов… Другие капитаны не брали… Узнала я, когда «Умба» приходит, пошла. Капитан так обрадовался:

— Где же вы были четыре месяца? Давайте, сейчас все погрузим, в первую очередь…

Старпом забегался — все тут же отгрузили. Главный наш — потом другим начальникам цехов выговаривал:

— Вы балыки не сумели отправить, а витамины, которые копейки стоят — погрузили… Как это получилось, не понимаю…

В нашей комнате, когда Виктор уехал, я сама все побелила. Из Москвы привезла хорошие занавески. Покрывало. У меня, кровать как невеста была. Такая сеточка, и на ней аппликация из белых роз. И такие же накидки на подушки. Я подсинила простыни и наволочки. И как невеста — эта коечка сияла.

Коврик был из красивого ситца с яркими розами. Уютно, нарядно в комнате… Я пустила к себе девушку, Тамару.

Но когда Виктор уже учился на третьем курсе, а я готовилась сдавать экзамены в рыбвтуз, муж неожиданно сказал:

— Подавай документы в медицинский…

Мединститут

— Лидия Николаевна, Вы решились сразу?

— Я боялась трупов. Я до сих пор их боюсь. Морг обхожу стороной. В годы учебы шла туда по крайней необходимости, когда мы проходили судебку или патанатомию. И когда труп вскрывала — чего только не передумывала, фантазировала: как этот человек жил, работал, и какие у него трудности были. А теперь он лежит, и мы его режем…

Когда я слышала похоронную музыку, то опрометью бежала на другую улицу, чтобы не столкнуться со скорбной процессией. И Виктор мне предлагает идти в мединститут!

Да еще как назло — вошли мы с ним в институтское здание, и встретили ректора:

— Как хорошо, Витя, что ты здесь! Привезли безродный труп для анатомки, а нести некому.

Виктор и еще один парень потащили ящик, а в нем — дырочки. И я увидела, как капли темной крови падают на пол. У меня голова кругом пошла.

Тогда муж начал со мной беседы проводить.

— Во-первых, — говорил он, — Не в каждом городе будет работа по твоей рыбной специальности. Во-вторых, мне не хочется расставаться с тобой ни на минуту. В-третьих — ты привыкнешь. Вы же начнете не с трупов. Сперва будете изучать кости по таблицам. Потом перейдете на муляжи. А вот когда дойдете до мышц — тебя самою потянет в анатомку, чтобы увидеть, как это выглядит в действительности.

Благовещенский институт был новым. Препаратов — тех же костей — не хватало. Изготовить учебные пособия можно было несколькими способами. Один из них — варить трупы. Потом мясо счищали с тел… Но качество костей получалось низким — они быстро темнели и имели неприглядный вид.

Гораздо лучше препараты получались, когда трупы раскладывали на крыше мединститута. Они гнили на солнышке, мышцы отслаивались… Студенты надевали маски, фартуки — и сами себе готовили учебные пособия. Погружали в специальный раствор — и вот они — белые, чистые кости и черепа.

Но когда трупы варили… Этим занимались латыши, высланные на Дальний Восток. Во дворе мединститута горели костры, стояли котлы, в них кипели трупы, латыши это варево помешивали. Бульон получался белого цвета. И запах супа — на три квартала…

Напротив был ресторан «Амур», так студенты шутили, что у медиков запах вкуснее.

Я ничего не могла есть до третьего курса, кроме оладушков с повидлом и чая. Ни супа, ни мясных блюд….

— Но как Вы выдержали экзамены в медицинский?

— Сперва посмотрела, какие предметы надо сдавать. Химию — это нетрудно. У нас семейная склонность к этой науке: папа, Нина, Алиса… И у меня рука, будто играючи, писала все, что нужно.

А вот литература… Далеко не все произведения новых авторов я успела прочесть. Обычно тема на экзамене была — «идейное содержание произведения», или «анализ образа героя». Да еще какая-нибудь вольная, вроде «Наш бронепоезд стоит на запасном пути».

Виктор сказал:

— Бери общую тетрадь.

Он важно расхаживал по комнате и диктовал — и про идейное содержание, и анализ тех или иных художественных образов. Я еле успевала за ним писать — как за профессором.

Помню ощущенье небывалого счастья, когда я увидела себя в списках принятых.

Прежде я плакала, что сестры учатся, получают высшее образование, а у меня — неизвестно как сложится судьба. А теперь…

Второй такой же счастливый миг был, когда родился первенец, Витя. Муж очень хотел мальчика. И я ликовала, что его мечта сбылась.

Мы жили в семейном общежитии. Все студенты зубрят, только и слышишь это монотонное бубненье «ду-ду-ду», и «бу-бу-бу», а Виктор приносит художественную литературу сетками, и ночь напролет читает.

— Ты же не сдашь экзамены! — говорю.

На другой день возвращается, достает зачетку, кладет на стол, а там одни «отлично».

— Как ты ухитрился?!

А у него память была уникальная — если присутствовал на лекции — все, учебник можно не читать. Беда в том, что иногда он просыпал первые часы, и вот тогда тревожился — не тот ли вопрос попадется на экзамене, что ему незнаком.

А потом в нашем общежитии случился пожар… Представьте старые бревенчатые дома… До революции в них жили купцы. И вот, такой дом — половина снята мединститутом под общежитие, а другую занимают хозяева. Ночью хозяин вкатил в коридор мотоцикл, и не заметил, что рядом с печкой — голландкой стоит

ведро с горячими углями — жена выгребла, чтобы закрыть вьюшку. И ночью раздался такой взрыв…

Я будто перенеслась в Сталинград, когда рвались бомбы. Мы еле успели выскочить. Стены уже горели. Виктор кое-что из вещей выбросил в окна… У него на руке навсегда остался большой шрам от ожога.

Очутились мы практически «на улице». Погорельцы. Собрали нам деньги, но надолго их хватить не могло. И секретарь ректора, приятная женщина, сказала:

— В Сталинграде тоже есть мединститут. Вы тут воду вермишелью заправляете — где бы ни жили, хуже не будет. А там хоть родные люди рядом…

Мы колебались… Нина прислала письмо: «Не вздумайте ехать к мамочке, она такую тяжелую жизнь прожила, ей надо отдыхать…» Но в конечном счете мы все-таки отправились домой, понадеялись, что не станем маме обузой — сумеем себя прокормить.

Не могу сказать, что близкие были довольны. Мама и тетя Поля жили в небольшой комнатке. Алиса только что вышла замуж и уехала с мужем-летчиком на Сахалин. Мы будто поменялись местами.

Мне было трудно учиться и справляться с малышом. Хотела уже брать академический отпуск… Запомнились слова председателя ВКК:

— Снять бы ремень хороший, штаны с тебя спустить, да по попе напороть с большим удовольствием. Сама из трех лучинок сложена, а ребенка заимела…

И тут в Сталинградский медицинский приехали представители из Куйбышева — пригласили студентов в военно-медицинскую академию. Мол, будете такими же терапевтами, окулистами, хирургами — только станете работать в госпиталях, носить форму и получать дополнительные деньги «за звездочки».

Виктор сказал:

— Едем.

Малыша мы оставили маме. Она согласилась взять Витю, только попросила высылать для него деньги. Они с тетей Полей жили очень скромно, а мальчику многое нужно.

Муж уехал первым. Нашел квартиру в центре Куйбышева. После к нему присоединилась я. Учеба отнимала все силы. Помню май… Виктора отправили в военные лагеря, под Саратовом. Мне предстояло сдавать экзамены. Я была рада, что осталась одна — никто не помешает готовиться. Ведь у студентов — медиков толстенные учебники, и столько всего надо

знать наизусть…

Но к той поре Нина вышла замуж, в июне у нее должен был родиться ребенок. Мама засобиралась в Ленинград. Маленького Витю она привезла мне как раз перед экзаменами. Боже мой… Малышу около двух лет, он рвется на улицу, ему надо готовить, развлекать его…

А знаете, как у нас проходили испытания? Зачет по черепу… Сидит старенький профессор со спицей, и на череп показывает:

— Что это за отверстие?

А я не помню. Это такое отчаяние — ведь учила как стихи латинские названия! Но что это за дырка — убей не скажу…

— Идите, готовьтесь еще.

Выхожу в коридор, а там толпятся ребята.

— Да это же муляж, а дырка — от гвоздя. На этот гвоздь — муляж ставят.

— Лидия Николаевна, в Жигулевск Вас направили по распределению?

— Сперва направление получил Виктор. Приехал академик Долго-Сабуров. Увидел, что у мужа в дипломе одни «пятерки». Расспросил его о семейном положении. Тогда к этому очень внимательно относились, учитывали обстоятельства.

— Молодую семью разбивать нельзя, — сказал Долго-Сабуров, — Мы направим Вас в Казань, будете служить в центре города, и супруга закончит там институт.

Но когда академик уехал, начальство перерешило:

— С какой радости мы будем хороших военных врачей направлять в Казань, когда их здесь не хватает? Нет уж, служите в Куйбышеве, на Седьмой просеке. Вот вам направление, езжайте к командиру и договаривайтесь о предоставлении жилья.

Выделили нам комнату в двенадцать квадратных метров. Повернуться негде. Там помещались лишь две армейские койки. На одной спали мы с Виктором, на другой — ребенок и тетя Поля. У окна стоял маленький столик.

Я не выдержала и пошла к Витиному командиру.

— Понимаете, я заканчиваю мединститут. Нужно серьезно заниматься, а тут малыш, бабушка… выделите нам две комнаты, или хотя бы одну, но побольше, чтобы было, где поставить ширму.

А он только улыбается:

— У меня офицеры живут в палатках под открытым небом, а вы недовольны комнатой… Ну и ну! Но мы решим вопрос. Я работаю до шести вечера, а дальше кабинет свободен —

приходите и учите свои уроки, никто вам мешать не будет.

Потом Виктора направили в Тольятти, в район ВСО-5. Дали ему машину, чтобы объезжал части. И он настолько хорошо поставил всю работу… Ездил по столовым, снимал пробу из котлов. Следил, чтобы были разные разделочные доски для сырых и готовых продуктов. Если видел маленькую трещинку — тут же доску топором разрубал — она уже негодна к употреблению. Щель могла стать источником инфекции. Ручки у дверей были обмотаны бинтами, смоченными в карболке. И половички лежали мокрые.

Отбирал у солдат грибы, если те приносили. В лесах много грибов — молодежь бывало, наберет в фуражки… А Виктор в машине мечется как бешеный. Забрать, уничтожить… Потому что съедобные грибы — они тоже условно ядовитые.

Еще муж следил за температурным режимом, чтобы еда была не холодной, и не горячей — теплой. Юнцы, которые приходили в армию с хроническим гастритом, возвращались домой здоровыми.

В медсанчасти были аптека, терапевтическое отделение, хирургическое — если требовалось, например, вскрыть фурункул.

Виктору приходилось очень много ездить. В апреле, вместе с солдатами — на Кубань, в Зеленокумск — на полигон. А потом на целину, на уборку урожая. По полгода я его не видела.

И никогда он сам себя не хвалил — лишь раз проговорился. Это случилось, когда из армии вернулся наш старший сын, Виктор. Он окончил институт, и был призван два года отслужить лейтенантом в Архангельске. Видно, климат не подошел, или сказалось то, что пришлось работать с окислителем. Но у сына началась экзема — сперва ею покрылись руки, а потом дошло до кончика носа, и даже уши распухли. Это — самая тяжелая форма.

Хорошо, что в местный госпиталь приехал молодой доктор. Он часами сидел возле Вити, придумывал, как ему помочь. Пробовал то одно, то другое лекарство. И вылечил. Кожа у сына стала, как у младенца.

А в первое время там работал врач — таджик. Так он мешок с медикаментами и не развязывал. Как упал на него, так и лежал, спал… Пьяница.

Виктор Михайлович услышал рассказ сына и сказал:

— Наконец-то мне понятно, почему я получал благодарности. Однажды к нам прилетели: секретарь ЦК Казахстана Кунаев и известный генерал — медик. Они проверяли, как обслуживают солдат на целине. И генерал был в восторге — он такой медсанчасти ни в одном городе не видел… Оборудованной по всем правилам…

И все же долгие месяцы жизни без семьи не прошли для мужа даром. Представьте эти удаленные точки. Свыше шестисот километров до ближайшего населенного пункта. Бутыли со спиртом. Тишина. Нальешь маленькую рюмку, выпьешь — и лежи, читай…

В те годы муж пристрастился к алкоголю.

Но у него была такая форма болезни, что позволяла отлично работать. Короткий запой — а потом начальники вновь встречали его — едва ли не с объятиями. Был такой строгий командир, по фамилии Лисянский. Все у него ходили по одной дощечке. Но вместо того, чтобы отругать моего мужа, он думал — как ему помочь. Ко мне обращался.

— Говорите, Виктор хотел стать хирургом? Пусть работает по этой специальности хоть часа три в день — в Тольятти или в Жигулевске. Может — это его отвлечет? Люблю я его, усатого — полосатого…

Жигулевск

Еще учась на шестом курсе мединститута, я приехала в Жигулевскую больницу — на практику. Мной были довольны, написали добрые отзывы: грамотный, вдумчивый врач, быстро и точно ставит диагнозы.

Я навещала свою семью каждую неделю, целыми сумками привозила продукты. Поэтому в Куйбышеве урезала себя во всем — пила чай с пряниками. Квартирные хозяева иногда угощали супом, картошкой.

Но жить Виктору, тете Поле и маленькому Вите на ВСО-5 было несладко. Сосед выпивал, по ночам играл на гармошке. Я обратилась к командиру соседней воинской части — по рассказам, доброму человеку, который любил и уважал врача Никифорова.

— Если Вы нам не поможете, я уж и не знаю, что делать… Мы будем пожизненно обречены на коммуналку…

Командир пошел навстречу — нашей семье выделили жилье в Жигулевске. Вначале — комнату, затем освободилась вторая — и вся квартира оказалась в нашем распоряжении. Одна беда — жилье кишело клопами и прочей живностью.

Виктор Михайлович принес банки с дезраствором, с клопами удалось справиться, но черные тараканы были неистребимы.

И все же, даже в новой квартире было тесно. Поэтому много лет семья жила так: в одной комнате разместились Виктор Михайлович и тетя Поля, в другой — сыновья, а я на ночь ставила для себя раскладушку в коридоре.

— Лидия Николаевна, чем отличалась жигулевская больница 60-х годов от нынешней?

— Сегодня появилось много новых зданий… Но какие в те далекие годы работали прекрасные врачи! Они переживали за каждого больного, чтобы вылечить его — старались применить все свои знания. Если их не хватало — не стеснялись обращаться за помощью к старшим товарищам.

Я помню изумительных людей. Гаршина… Посвятила всю жизнь медицине. Была на фронте, и когда пошла смотреть фильм «А зори здесь тихие» — у нее сдавило сердце, до приступа. Начитанная женщина — декламировала наизусть стихи, прозу…

Погосян, заведующий хирургическим отделением… К каждому больному относился как к близкому человеку. Мог в пух и прах разнести медперсонал, если что-то не сделано для пациента.

Прийти на пятиминутку, пообщаться с ним — было такой радостью! Казалось, эти врачи все знали, мы смотрели на них, как на богов… Четверга ждали, как праздника! Я еще в среду подготовлюсь, наглажусь…

Я работала в кабинете Полежаевой — и у меня сердце замирало, что сижу на месте такого врача. Она была и ЛОР-ом, и нейрохирургом, делала внутричерепные операции. И она сама меня посадила на это место.

— Вы начали терапевтом?

— Тогда все после института так начинали. Муж мой сравнивал терапевтов с инженерами. Мол, остальные медицинские специалисты — это техники, а тут — инженеры.

Веру Филипповну Назарко перевели заместителем главного врача, а до этого она вела центральный участок — и мне предложили ее заменить. Я села на стул, и чуть не умерла — сижу на месте Веры Филипповны.

Когда проходила практику — я ею любовалась. Как она больных опрашивает, как подробно все записывает в карточку мелким, красивым почерком. Назначает лечение — подбирает целые курсы… Я не могла глаз оторвать — думала, вот это талант!

Участок большой — четыре с половиной тысячи человек. И она каждого знала — входит больной, и она помнит, кто страдает высоким давлением, какое лекарство переносит, а какое нет. Я потом пользовалась ее записями — это была большая помощь!

Когда Вера Филипповна уходила, я попросила обрисовать работу участкового врача.

— Это — как труд домохозяйки, — сказала она, — Вы никогда не сможете дома идеально переделать все дела. Их поток нескончаем. Так и здесь. Вы должны «от и до» отсидеть на приеме, потом обслужить вызовы…

Помню, как пошла в Яблоневый Овраг, вместо заболевшей коллеги. Еле вскарабкалась на гору, обслужила пациентов, потом нашла дощечку типа фанеры, села на нее — молодая была — и съехала с крутизны — до той самой улицы, где ходили автобусы.

А еще бегала на уколы к тяжелым больным. Если крупозная пневмония — инъекции надо делать через определенные промежутки времени, до самого позднего вечера, пока человек не заснет.

Нужно было прийти и к гипертоникам, проверить отдаленные результаты моего лечения. Зайду к своим бабушкам — им так нравится, что о них не забыли, уделяют внимание, меряют давление… не уйдешь — усаживают, предлагают чай с вареньем.

А потом в семье случилась беда. Сестра Нина отправила в Жигулевск мать.

Мама до этого жила у старшей дочери, помогала нянчить внука. Но чувствовала себя все хуже. Нине нельзя было прерывать опыты, и она решила: младшая сестра и ее муж — врачи. Разберутся в чем дело, поставят диагноз, вылечат.

Виктор Михайлович на военной машине встретил маму в Сызрани. Выглядела она плохо — кожа до кости. После проведенных исследований стало ясно — рак печени, положение безнадежное.

— Сколько это продлится? — я у онколога.

— Около полутора лет.

Маме требовался постоянный уход, а только что родился Олег. Мне пора было выходить из декретного отпуска. Трудиться участковым врачом при таком положении в семье — невозможно. Я перешла работать на «скорую» — всегда будет возможность заехать домой, сделать маме инъекцию.

Олег с рождения был холериком. Не спал и пяти минут.

Мама стонет, ей нужен укол. Тогда же не было одноразовых шприцев, надо скорее кипятить стеклянные… Сделаю инъекцию, ей немного полегче.

Мужа дома не бывало месяцами — он на полигоне, или на целине. Помочь некому.

И вот мама стихла — мне б прилечь, уснуть… Только на диван прилягу — смотрю, Олег кряхтит. Он еще не умел ходить. У кровати решетки, он за них цепляется… Вижу в темноте — встает и начинает хныкать. Требует, чтобы я зажгла свет. Я кладу его потихонечку — и начинаю убаюкивать. Потому что сама спать хочу — уже сил нет… Как бы не так… Он снова — как ванька-встанька. Родился с таким характером. Нужно подниматься, уделять ему внимание…

И он долго не хотел есть ничего, кроме грудного молока. Уже почти два года, а выплевывал самый вкусный суп. Одна из причин, почему я согласилась поехать в Куйбышев, учиться на лора, была — отлучить Олега от груди. Не умрет же малыш от голода! И точно: в очередной мой приезд, тетя Поля сказала, что ребенок ест все, что дадут.

Но я забегаю вперед. После смерти мамы я собиралась вновь работать терапевтом. Это трудная работа — поверьте! Всю жизнь я не признавала талонов — принимала всех, кто придет на прием. Задерживалась в поликлинике до полуночи — муж приходил встречать.

Да еще — сколько на участке было стариков! В стационар их

уже не клали по возрасту. Им за девяносто… А крупозных пневмоний тогда было много. Вылечить же глубокого старца труднее, чем грудного ребенка. Иммунитет снижен… Я ходила в разные концы города, делала уколы… Очень добросовестно относилась к этому. И если направляла больных в стационар — коллеги мне верили: иначе нельзя.

Один раз слышу такой разговор:

— Кладите, кладите, где хотите ищите место, хоть раскладушку ставьте, но раз Лидия Николаевна прислала…

Это была для меня награда, такое доверие. Как будто орден на грудь повесили.

Да, еще я не рассказала… Отступление… Мама сидела, уже вся больная, и ворчала на меня:

— Ты износилась потому, что балуешь своих мужиков, брюки им стираешь… Пусть сами…

— Мам, — спрашиваю — А был какой-нибудь мужчина в жизни, которого ты любила?

Смотрю — у нее сразу лицо подобрело, я ее такой никогда не видела. Серьезная она была, а тут вдруг расцвела…

— Ну, признавайся, кто это был?

И она мечтательно:

— Полин первый муж. Вот уж этому я бы каждый день ноги мыла, и пила эту воду. Когда свадьба была, и молодые из комнаты выходили — он все же взгляд на меня бросил… А я его безумно любила… Через всю жизнь я эту любовь пронесла.

Когда мама умерла — мне сказали: «У вас на ногах появилась сеточка, болезнь станет прогрессировать. Нельзя бегать по этажам. Поезжайте учиться на лора — будете сидеть в кабинете».

А тут еще Олега надо было приучать кушать обычную пищу, и я отправилась в Куйбышев.

Первое впечатление — тяжелое. В клинике оперировали детей. Они визжали, пытались убежать, бросали на пол лотки с кровью… Столько крови я не видела ни на одной кафедре: даже у хирургов — там только тампоны, а здесь… И я взмолилась:

— Я прирожденный терапевт, отпустите меня, пожалуйста, в Жигулевск.

А заведующая — Альпия Петровна Митник, сейчас она академик, и ее коллега — меня уговорили:

— Вы уйдете отсюда только лор — врачом. Мы вам поможем…

Подбирали мне взрослых больных, которые сознательно шли на операции.

Я ходила в морг с кандидатами наук, училась оперировать. Самый большой специалист был Калинкин. Как изумительно он

восстанавливал носы! Разные же случаи бывают: человек попадает в аварию, например…

Особенно ему удавались резекции носовых раковин. Он кохером как возьмется от начала раковины — и так быстро все сделает! Положит на стол одну, потом вторую — и они лежат как две рыбки, ровненькие, будто никто их и не трогал, а кровь вся в лотке.

Сейчас он профессор, заведует лор — отделением. Мне передавали от него привет.

Помню его жгучим брюнетом, а нынче он белый, как лунь.

Четыре месяца я училась. Когда приехала — владела всеми операциями. И рвалась в хирургию.

— Лидия Николаевна, а правду говорят, что может быть способный врач, но руки у него не приспособлены к виртуозности хирургической работы — и тогда ему лучше переквалифицироваться?

— Наверное, как и у портних. Иная так сошьет вам… Здесь была немочка, Гильда. Она обшивала только секретарей горкомов партии и их жен. Еле уговорила ее сшить костюмчик. Прихожу в больницу, раздеваюсь, а молодой хирург — азербайджанец говорит:

— Ну почему наши не умеют так шить? Сразу видно заграничную вещь…

А Олег на шестом курсе подрабатывал санитаром, чтобы купить мне легкое сукно и сшить английский костюм.

— Он никогда не выходит из моды. Днем жарко — ты повесила пиджак, а вечером прохладно — надела…

Купил отрез и преподнес мне ко дню рождения. Пошла я к местной портнихе — и как же она сшила… Уродливо все вырезано, широкий хлястик, юбка балахоном… И ведь на примерку ходила… Она долго извинялась, но мне осталось только повесить испорченную вещь в дальний угол шкафа и больше ее не касаться.

И вдруг ко мне на прием пришла женщина в таком замечательном костюмчике — цвета кофе с молоком…

— Тамара Ивановна, где вы его купили?

— Мне сшили в ателье «Россия». Могу дать вам координаты портнихи…

Я поехала. Вышла эта женщина — она даже не похожа на закройщицу. Так аристократически держится, разговаривает…

— Можно ли сшить хорошую вещь из испорченной?.. Ваш костюм — только на помойку. Если бы вы мне отрез принесли…

Я так ее просила! Объясняла, что жалко труд сына…

— Ну оставьте… Посмотрю, что можно сделать.

И на первой примерке я свой костюм не узнала. Пиджачок сидит, как влитой, и юбочка…

— Любовь Михайловна мне не хочется его снимать, так бы и ушла в нем…

Она смеется. Я потом этот костюм носила до последнего, пока он не стал рваться.

Работу хирурга можно сравнить с искусством портного. Орехов! Как красиво он делал операции…

Когда удаляешь миндалины — нельзя убрать и миллиметр ткани, иначе потом человека замучает фарингит. Надо передние и задние дужки разрезать по ребру, это очень сложно… Миндалину отслоить…

Орехов будто не касался миндалин, когда оперировал. И результат был такой красивый, когда посмотришь горло у выздоравливающего…

Однажды пришел капитан — у него была опущена переносица, и перегородка вся сложена гармошкой. Я направила его к Орехову отчасти даже с любопытством — справится ли он с таким случаем? Что вы думаете — приходит капитан, как по линеечке ровная перегородка, и дыхание свободное.

Мастер! Я представляла Орехова высоким, с длинными пальцами.

А у Олега — ангина за ангиной, с высокой температурой. В один прекрасный момент это могло дать ревмокардит. Зачем рисковать? Но вряд ли бы сын стал сидеть у меня в кресле спокойно. Операция кровавая — и я часто давала больному отдыхать. Потом быстро-быстро поработаю и опять:

— Подышите, как вам удобно, сплюньте.

Чужие — то слушались, и я делала операцию за пять-семь минут. А Олег будет отдыхать не секунды, а сколько захочет — раз со скальпелем мама!

И я решила пригласить Орехова.

— Не прооперируете ли моего сына? Когда Вы сможете?

— Да прямо сейчас и приеду…

Входит, у него дипломат со стерильным вкладышем, он работает только своими инструментами. Маленького роста, большая голова, широкие плечи… Пальцы короткие, толстые.

— Я вас совсем другим представляла, — говорю, — Как вы такими пальцами так красиво оперируете?

Олег оперирует как Орехов. Помню, он только закончил институт… Иду, а навстречу медсестра Моргунова. И говорит:

— Лидия Николаевна, мы такого еще не видели. Такой

быстроты рук… Как Олег все делает — будто играючи…

Я подумала — она приукрашивает. Просто, чтобы я знала, что сын хорошо работает. Откуда ему владеть хирургическими навыками? Он только начинает.

А потом Мария Николаевна Румянцева — другая операционная сестра — слово в слово повторила то же самое. И тогда я поверила.

— Хирурги срываются на операциях?

— Бывает, когда сложные случаи. Сегодня ко мне зашла медсестра — она всю жизнь проработала в хирургии, а операционной. Принесла горячий батон:

— Скушайте горбушку с чаем, Лидия Николаевна.

Подаю ей нож, а он не режет, тупой… Как она завернула, по мужски… Она всю жизнь проработала среди мужчин в операционной.

Я знаю, когда слетела лигатура, под потолок бьет артериальная кровь, каждая секунда играет роль, а сестра подает не тот инструмент — так ее шлют матом…

Я промолчала — вижу, она не замечает, что выругалась — просто выразила недовольство, что Олег не наточил нож.

— А любовь к людям у врача сохраняется — после многих лет работы?

— Врач должен быть деловым. А больной — понять, что перед ним не нянька, не артист, а специалист высокой категории…

Есть врачи, которые сюсюкают с пациентами. Есть — исключительно грамотные, но просто не способные на такие нежности.

Олег перед сложными операциями заказывает в храме молебны. Берет у отца Павла освященную воду…

* * *

Я делала по двадцать операций в день. Начинала с утра, приходила пораньше — и пар стоял: медсестры уже подготовили мне инструменты.

Хирурги сердились, что я занимаю столько мест в отделении — им некуда класть своих больных. Я бегала по всей больнице, просила найти места. После операции медсестры и санитарки вели туда больных под руки.

А потом я спешила на прием. И все равно порой опаздывала. Операции же — вещь сложная, все может обернуться

непредсказуемо.

И шестнадцать лет я ездила в командировки. То в Шигоны, то в Мирный.

В Шигонах нужно было осматривать призывников. Военкомат — огромный дом в поле. Спала на столе, подстелив пальто… И другие врачи так же. Все в одной комнате. С вечера уборщица натопит — а к часу ночи уже холодно.

Столовая работала до обеда. Щи… Белая вода и кислая капуста… Идешь в магазин — берешь кефир и пряники, чтобы погасить чувство голода. И полмесяца в таких условиях.

Дети оказывались заброшенными. Олег учился в восьмом классе — и его учительница литературы однажды встретила меня, сообщила, что сын не сдал в срок сочинение. Пусть мол, нынче же принесет.

Дома Олег сидит за столом, важный как профессор. Вижу, занимается чем-то своим.

— Почему не сдал работу? — спрашиваю.

— Вдохновения не было…

И так он это сказал, с таким чувством собственного достоинства… что я не могла сердиться.

Но ведь, чтобы поступить в мединститут, нужно отлично учиться — там огромный конкурс… Как мне присматривать за сыном, обеспечить уход? Что делать? Помог случай.

У меня было множество общественных нагрузок. И вот, к Восьмому марта, женщинам — медикам выделили по три рубля, и я поехала в Тольятти, чтобы купить подарки. Говорили, что там продают капроновые платочки как раз за эту цену.

И там я встретила Нину Владимировну Полежаеву. Замечательный врач! Из Питера… Закончила аспирантуру, была отоневрологом в большой клинике, делала сложные внутричерепные операции. А все остальные манипуляции — просто играючи. Приводят ребенка, у него косточка от вишни в ухе… Извлекать очень больно, дети даже при обезболивании кричат. А Нина Владимировна — как фокусник — все делала молниеносно. И без всякой анестезии. Сверкнет инструмент — и покатилась косточка.

Но главврач к Полежаевой придирался. И дождался того, что она бросила перед ним ключи от казенной квартиры — и ушла работать в Тольятти.

Она мне сказала:

— Я ухожу на пенсию — а ты переходи на мое место, в больницу водников.

Нина Владимировна договорилась со своим руководством —

и позвонила, что меня ждут. Когда я пришла — встретили замечательно. А меня интересовал лишь один вопрос — будут ли командировки? Новое начальство только смеялось:

— Если это Вас так пугает, мы Вас даже в Куйбышев на совещания посылать не будем.

Главврач Жигулевской больницы шестнадцать дней не подписывал мое заявление. Но, в конце концов, ему пришлось это сделать, я ушла к водникам и шестнадцать лет проработала там.

Семья

При всей своей занятости я старалась навести уют в доме. Купила гарнитур, зеркало, повесила ковер… В нечастые свободные минуты хваталась за домашние дела.

Росли сыновья. Старший увлекся техническими науками.

Когда-то у Вити нянькой был… шофер. Муж много ездил по своим медицинским делам. И сын с ранних лет полюбил автомобили. Окончил школу, и пошел в политехнический институт, на факультет — «двигатели внутреннего сгорания».

Так же, как и отец, Витя с детских лет много читал. Когда был еще совсем малышом — вокруг него раскладывали журналы, и он мог часами рассматривать картинки. Взрослые за это время успевали и приготовить обед, и постирать белье.

Учеба в школе давались ему легко. Я возвращалась с работы и спрашивала у тети Поли:

— Витя уроки учил?

— Знаешь, не видела… Может учил, когда я спала?

А спала она тихо, как ребенок.

Она вообще была для меня большой поддержкой. Я прибегу:

— Кушали?

— Да неужели тебя ждать будем? Иди на кухню, да сама поешь…

А там уже ждет ароматный борщ, в сковороде — с одной стороны поджаристые котлеты, с другой — картошка, еще в одной кастрюле стынет кисель. На столе — эмалированная чашка, полотенцем накрыта — там лепешечки. Недавно Алиса у меня рецепт спрашивала — лепешки эти не черствели.

И дети сыты, и живой человек в доме. Бывало, расстроюсь, рассказываю о своих неприятностях, а тетя Поля говорит:

— Я не пойму, чего ты с ума сходишь. Вот и сумашествует, и ходит… Прекращай!

Конечно, мальчикам нужно было внимание отца.

Виктор Михайлович не ходил на родительские собрания. Зачем — ребята отлично учатся, а что хулиганят порой — так кто из мальчишек не дерется?

Но как-то у Вити в дневнике появилась надпись красным карандашом — обидел девочку. Я в тот день вернулась с работы поздно, в школе было уже темно, учителей нет. Сделала Вите замечание за проступок, он ответил повышенным тоном. И тогда вышел Виктор Михайлович:

— Чтобы я в первый и последний раз слышал, что ты с матерью так разговариваешь!

В последние годы муж работал на «скорой», его болезнь позволяла это. Он, как всегда, много читал. И старший сын не отставал от него.

Я выписывала большое количество журналов — и Витя черпал из них самые разные сведения: по химии, автомобилестроению, медицине. Еще когда он был мальчиком лет пятнадцати — соседи ходили к нему лечиться. Он и диагноз поставит, и лечение назначит — нас наслушался, начитался наших книг.

До недавнего времени Витя преподавал в техникуме. Мальчишки его очень любили, смотрели, как на отца. Он и ремонты в классах регулярно организовывал, вкладывал свои деньги.

Здоровье сына нельзя назвать крепким — у него язва желудка. Помню страшную ночь. Накануне, в воскресенье, Витя весь день пролежал. А ночью зашел ко мне в комнату:

— Мам, мне плохо.

Я спросонья даже не поняла, что случилось.

— Сынок, — говорю, — Я только что уснула. Ты, наверное, за день выспался, тебе скучно…

Он зажег свет, а у него изо рта фонтаном кровь. Кровотечения — это самое страшное осложнение в медицине.

Я метнулась к Олегу:

— Посмотри…

А вот в нем, видно, хирург никогда не засыпает… Я такую скорость не видела — с какой он вскочил, брата обнял — и почти на руках, волоком — снес его в машину. И отвез к себе в хирургию. У него же дома под рукой ничего не было.

Вернулся из отделения и сказал, что кровотечение почти сразу удалось остановить.

В последние годы близкие мне люди ушли.

Тетя Поля… Я уже говорила, какой она была для меня поддержкой. За два года до смерти она сломала ногу. Лежала… Я отработаю день, потом ночь отдежурю — и еще день работы — только тогда прибегу домой. И сразу становлюсь ее купать. Клеенку подстелю, чтобы не намочить матрас, налью в таз воды, добавлю туда «белизны»…

И постельное белье у меня было белоснежным — я его кипятила.

Сейчас я мысленно прошу прощения у тети, что работа моя врачебная не позволяла уделять ей достаточно времени.

Пересплю дома — и опять меня нет.

А тут Олег приехал из Самары за книжкой. Взял тетю на руки, отнес в ванную, выкупал, как следует. Одел на нее мой байковый халат, уложил поудобнее, в ту позу, как она попросила — и уехал последним автобусом.

В тот день я задержалась и пришла поздно. Уже на пороге слышу — тетя Поля кричит, просит ее перевернуть. Скорее поворачиваю — как могу — рывками, а она жалуется:

— Болит за грудиной…

У нее случился обширный инфаркт.

Олег приехал хоронить, привез огромный букет белых цветов. Он всегда покупает огромные букеты, их в ведро ставить, а не в вазу.

И я попросила женщину, свою бывшую пациентку, которая в тот момент была у нас дома.

— Дарья Васильевна, возьмите в ванной ведерко, поставьте цветы.

А она перепутала, и взяла тазик, из которого я мыла тетю Полю. Он мелкий, и она обрезала каллы, оставила одни головки — они там плавали…

Я так расстроилась, мне было так жалко сына… И денег как всегда — в обрез.

А Виктор Михайлович умер от тромбоэмолии…

Олег

— Лидия Николаевна, я читала, что проходит несколько лет после того, как врач уходит на пенсию, и бывшие пациенты его забывают. Разве это правда?

— Знаю, что помнят наставников — я восемь лет преподавала в медучилище. Ученики вспоминают до сих пор. А когда Олегу вручали премию «Признание» — зал в едином порыве встал, и мэр сказал: «Никогда еще не видел, чтобы так чествовали врача. Это говорит о многом».

Нам тогда подарили два огромных букета: мне — алые розы, а Олегу — белые. Это больные, которые у него лечились, собрали деньги, больнице недоступно — купить столько роз.

Олег с детства хотел стать врачом.

Помню кошку, это был кошачий подросток… Олег принес ее домой. Страшное существо, шерсть вылезла, шея складками.

Сын постелил ей в ванной:

— Мам, ее нужно лечить, — говорит, — Кто ж такую возьмет?

Повез он кошку в местную ветлечебницу. В ведро посадил, и фанеркой прикрыл, чтобы кондуктор из автобуса не выгнала. А там отказались даже осмотреть животное:

— Мы кошек не лечим, вам надо ехать в Тольятти…

В Тольятти спрашивают:

— Это ваша животинка? Нет… Ну и выкиньте, на улице таких тьма бегает.

Сын чуть не плакал:

— Мам, как же так можно? Они же врачи…

Он все это прочувствовал, это равнодушие — чтобы самому не быть таким.

Я дала кошечке щец на пробу, колбаски кусочек — а она не ест. Бросается на кусок, фырчит. Видно, что голодная, а проглотить не может — значит, у нее патология в горле.

Я принесла инструменты. Открыли мы с сыном ей рот, глянули, а там кость поперек глотки стоит, и за этим местом абсцесс образовался.

— Олег, будем вскрывать.

Сделали пункцию — и столько гноя вышло… Кошка сразу кушать начала.

Витамины мы ей прокололи — полный курс лечения, как человеку. И что вы думаете? Обросла шея. Олег искупал кошонку с шампунем. Пушистенькая стала, хорошая.

Она у нас жила месяца два или три, пока не сбежала.

Не так давно сын выходил ворону. У нее было что-то с крылом. Куда Олег только ни ходил — ее не принимали. А она росла, нужно было учиться летать. И Олегу дали адрес приюта для зверья. Я собрала ему в дорогу мешочки со старой крупой. Он не хотел брать, стеснялся предлагать такое. Но когда он сказал бабушке, которой привез птицу, об этой крупе — она так обрадовалась! Она же этих питомцев содержала на свою пенсию — никто не помогал. И сколько там птичек было — и с подбитыми ногами, и со сломанными крыльями… Жили, выздоравливали…

Каждый день, когда Олег приходит с работы, он спускается в подвал кормить кошек. Порою, в два часа ночи. Я заранее все сварю… Никому об этом не говорю, потому что доброта нынче вызывает смех. Жалеешь животных, а в глазах других выглядишь дурой.

И есть там больной кот. Их семейство травили… И мать его умерла, и сестренки, а он сжег себе горло, но выжил. Он не может кричать, все коты его бьют, а он только так — хххх… хххх… Бывает, по два-три месяца его нет, потом появляется. Идет, хрипит мне — дает знать, что это он.

Я начинаю с ним говорить, а он так рад этому, у него глаза веселые делаются…

И кошечка, которую я выходила, живет там же, в подвале. Ей молока сваришь, заправишь вермишелькой, или сливочным маслом, сахарку добавишь. Потом кильки немного дашь, и она блаженствует — и чужих котов в подвал не пускает…

Бабушка моя рассказывала: у нее была очень хорошая кошка, рыжая. Приехали гости из Сталинграда, и забрали котенка от этой красавицы. В первый раз он вернулся домой через неделю. Подумали — запомнил дорогу. Ведь ехали на телеге. Он так и шел над Волгой, тем же путем. Второй раз котенка посадили в мешок — но он снова возвратился на старое место. И больше его уж не отдавали.

В школе Олег очень увлекался химией. Наше, семейное! Его учительница не только уважала, она его просто любила.

И нынче он отлично знает фармакологию, напишет формулу любого лекарственного вещества. Некоторые препараты совместимы, другие — ни в коем случае нельзя вводить пациенту одновременно. Олег умеет все нужное соединить, и — в капельницу.

Один раз, когда я дежурила в стационаре, лежал у нас парень лет двадцати семи. Возбужденный такой, уставший. У него была

язвенная болезнь с сильнейшим болевым синдромом.

Я велела медсестрам сделать ему внутривенный укол, назвала лекарства. Утром молодой человек подошел ко мне счастливый — выспался… Дома я похвалилась Олегу.

— Ну-ка давай, садись рядом, — сказал он.

И начал писать формулы веществ, которые я вводила. И вышло, что в результате реакции получилась вода.

— Как же он мог у тебя спать?

… Когда Олег поступал в ординатуру, он хотел попасть только к Ратнеру.

Для справки.

> Георгий Львович Ратнер — хирург, педагог, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой факультетской хирургии Самарского государственного медицинского университета, председатель Самарского общества хирургов.
>
> Почетный член Шведского общества «Аорта», Почетный профессор Осакского университета, член ряда международных хирургических обществ, почетный гражданин Самары, кавалер орденов Ленина, Отечественной войны I и II степени и Дружбы народов, обладатель золотого академического «Оскара» — «За неоценимый вклад в культуру, науку и прогресс человечества», кавалер 7 орденов и медалей, Большой серебряной медали Кембриджа.

Олег рассказывал о его больнице. В восемь часов там начиналась пятиминутка. Ратнер садился за стол. К его приходу хирурги должны были уже все о больных знать и доложить. Как пациент спал, какая у него температура, сколько раз мочился — это очень важно, и все это у них было записано…

Еще Ратнер заставлял хирургов зарисовывать операции в цвете: что делал, как швы накладывал — все… Такой был требовательный. А Олега всегда тянуло туда, где требования выше. Он мечтал:

— Если бы Ратнер взял меня к себе…

На собеседовании сыну задавали много вопросов. Олег к тому времени отработал хирургом лишь три года, а нужно было — пять. И его спрашивали по пятилетнему стажу: какие делал операции, сколько…

В конце беседы Ратнер отметил в блокноте его фамилию.

И сын приехал домой такой счастливый…

Сейчас Олег много работает на поджелудочной железе. У него свои методы, разработки — он забросил их в Интернет:

— Этого нет в книгах, пусть ребята-хирурги пользуются.

А потом ему пришла тяжелая бандероль — статья попала в научный журнал, ему прислали экземпляры.

Вскоре после этого Олега пригласили в аспирантуру.

* * *

Олег в совершенстве владеет английским, говорит практически без акцента. Когда бывает в составе научных делегаций — выступает в роли переводчика. Сказалось, что он несколько лет брал уроки у одного из лучших преподавателей в городе.

И когда сын сдавал экзамен по иностранному языку в аспирантуру, услышал:

— Изумительно, свыше, чем «пять», но, к сожалению — больше «пятерки» — мы вам поставить не можем.

А онкологом Олег быть не смог. Слишком жалел пациентов. Ведь много безнадежных…. Он до последнего старался им чем-то помочь, успокаивал. Заказывал лекарства в Тольятти, где его все знают.

И говорил близким такого больного:

— Я завтра буду на работе, вы зайдите к маме, она вам отдаст препарат.

А потом больной умрет — и родственники проходят мимо Олега, не здороваются. Будто врач виноват в исходе — не вылечил…

Иногда я слышу, о сыне говорят «У него трудный характер, хмурый вид»… Но это работа трудная — а у Олега все написано на лице. И если он сосредоточен — значит, впереди серьезная операция, мрачен — значит, тяжелый пациент.

Он не оставляет человека до полного излечения. Уже и из хирургии больного выпишут — Олег придет домой, проверит — все ли благополучно. Нередко на свои деньги покупает лекарства. Камфару мою, которую я берегла для себя — ее уже сняли с производства — отнес своим тяжелым больным.

Помню, умирал один пациент. Олег менял ему белье, спускал мочу… У мужчин же это очень сложно, только врач может. А никто не хотел лишний раз подойти.

Я зашла в палату, и вижу — дедушка скончался. А Олег бреет его, мертвого.

Олег спит так мало… Редкую ночь его не зовут в хирургию. Начинаю его ругать:

— Не жалеешь себя, долго не протянешь… Это ж какие силы надо иметь — так работать!

— На себя посмотри, как ты работала… — говорит он.

И я замолкаю.

Из всех врачей — меньше всего живут хирурги.

Я стала очень медлительной. Раньше главврач хотел мне дать две медсестры, потому что я очень быстро со всем справлялась. А сейчас суечусь — суечусь, а в конце дня вижу, что всего-то и успела: сходить в магазин и сварить борщ.

Олег приходит и начинает выговаривать:

— Ты ничего не ешь… уморишь себя… Я не видел сегодня, чтобы ты кушала.

— Как же ты увидишь, если целый день в хирургии…

Сам быстро что-то перекусит: я и спросить ничего не успею — как он уже в дверь убегает.

А мне так хочется поговорить… Была бы дочка — она бы меня слушала…

Дело человеческое

В Тольятти, в больнице водников, Лидии Николаевне говорили:

— Как Вы много оперируете!

Она только улыбалась — это капля в море по сравнению с Жигулевском.

Вспоминает Лидия Николаевна:

— У нас был очень строгий контроль по всем параметрам. Старшая операционная сестра ходила с ваткой, смотрела — нет ли где пыли? Стекла были такие прозрачные — будто их нет. Проверяющие контролировали — должным ли образом проводится диспансеризация. И много чего еще учитывали.

Ставились баллы, потом подсчитывался общий итог. И наш кабинет всегда выходил на первое место. Все шестнадцать лет у нас стояло бархатное знамя с вышитым бисером портретом Ленина.

Однажды меня попросили посидеть в военкомате — шла призывная комиссия в Афганистан. В это время приехали наши сотрудники — сказали, что было профсоюзное собрание, и меня выдвинули на присвоение звания заслуженного врача.

У меня задрожали от волнения руки. Осматриваю очередного мальчика, а руки трясутся.

Но на следующем собрании выяснилось, что звание получила не я, а наш главврач. Очевидно тот, кто решал вопрос, посчитал, что мне хватит и медали. Весь коллектив тогда возмутился:

— Мы выдвигали Лидию Николаевну!

А потом был еще один неприятный момент. Тот же главный уволил заведующую поликлиникой. Она прекрасно знала свое дело. Ее выбросили потому, что надо было осуществить перестановку кадров. На место лор-врача взять одну блатную особу. А мне предложили место заведующей.

Я отбивалась, как могла — сказала, что вскоре выхожу на пенсию… И все же ненадолго занять этот пост меня уговорили. Это административная работа — необходимо погружаться во множество конфликтных ситуаций, решать сложные вопросы.

Например, диабетикам давали талоны на гречку, и я объяснялась с больными, которые имели другие диагнозы, но желали получить талон.

— У меня гастрит, я кроме гречки ничего есть не могу, а мне не дают…

Или больная поссорилась с врачом, обвинила его в грубости — и у каждого своя правда. Мне становилось плохо от таких конфликтов. Да еще задел случай…

Когда я сидела на ВКК — поставила себе столик, положила рефлектор… Те, кто приходят продлевать больничный, иногда нуждаются в осмотре лор-врача…

Я уже рассказывала, с каким благоговением мы смотрели на старых докторов. А эта, новоиспеченная… ради которой всех выгнали со своих мест, встала передо мной и пальчиками барабанит:

— Отдайте рефлектор…

А он все эти годы был со мной. Я его отдала как что-то родное.

Когда мне было очень трудно, и я переставала верить в себя — вспоминала слова Гаршиной:

— У меня есть две женщины в жизни, которых я уважаю — летчица Марина Попович и врач Лидия Никифорова. Я всегда думаю, как бы Вы поступили в той ли иной жизненной ситуации. Уверюсь, что именно так — и тогда принимаю решение.

А потом меня уговорили вернуться в Жигулевск. Обещали тихую работу в поликлинике Яблоневого Оврага. Я была рада, что не в стационаре. Там трудно — и ночью вызывают, если экстренные случаи. Например, кровотечения.

Но, в конечном итоге, мне сказали: «Нет, это роскошь для поликлиники — держать там такого врача как Вы. Идите в центральную городскую больницу, сделаем вам достойную зарплату». И я пошла.

Сложных случаев за годы моей практики было много.

Привозили девушек, которые работали на радиозаводе. Личная жизнь не складывается, или отыскивается другая причина, а в гальваническом цехе — чаны с цианистым калием. Девчонки хлебнут, но концентрация низкая… Уксусную эссенцию пили.

Этих бедняжек привозили с шеями, раздутыми едва ли не в два раза. Лицо синее, почки отказывают… Ночью вызовут к такой — и борьба за её жизнь идет до утра.

Дважды определяла случаи тонзиллогенного сепсиса — это очень редкое и тяжелое заболевание. Некоторые лор-врачи не сталкиваются с ним за все годы работы. И обычно, чтобы подтвердить диагноз — собирается консилиум.

Помню, привезли юношу семнадцати лет. У него ангина осложнилась абсцессом, температура поднялась под 40. Он еще боялся идти к врачу, страшился, что начнут резать.

Привезли его уже с кровотечением — не успевал отплевывать кровь. Открыл рот — и мне все стало ясно. Надо вскрывать абсцесс, но хлещет артериальная кровь — аж отслаивает миндалину. И все-таки вскрыли. Вышло очень много гноя. Но как остановить кровотечение? Все лекарства капали, какие возможно, в разрез вложили тампон. Но нет, нет… течет… Мальчик был на грани… Помог фибрин — на станции переливания крови нашелся этот препарат.

У Володи Ряснянского была гноем переполнена пазуха, почти септическое состояние. Началось костное кровотечение. Я оперировала его ночью, и никогда после не говорила юноше, что он мог умереть в эти часы.

А один раз оперировала кисту гайморовой пазухи. Пациентка — милая женщина, главный врач. Операция сложная. Делается разрез от второго до шестого зуба. Отслаиваешь все скальпелем и заворачиваешь на лоб. Видно вход в глазницу, в нос… девочки из медучилища, глядя на это, в обморок падали.

И в гайморовой пазухе я увидела аномалию — там вырос зуб. Красивый голубой зуб, а корни его шли куда-то к глазу. Страшно стало! Вдруг я буду удалять, потяну — и с глазом вместе… Вызвала стоматолога.

— В чем дело? — спросил он, — Ах, аномалия развития… Запомни на всю жизнь — эти зубы очень нежные. Сейчас ты сама его удалишь… Я даже не буду мыться.

У меня душа была в пятках. Повернула, потянула — и гляжу — зуб лежит в щипцах.

Пациентке он так понравился! Она хотела его сохранить на память. Но санитарка убиралась в палате, и смахнула зуб с подоконника. А потом вымыла полы.

Один раз привезли пьяного мужика. Держит возле носа платок, кровь капает… Оказалось — носа и вовсе нет. Вернее, он его держит в руке. Черный такой, как уголек.

Оказывается, мужик этот нежно прощался с другом, обнимались-целовались, да еще — в частном секторе — на кучу антрацита падали, и никак не могли подняться… И, в конечном счете, приятель в порыве чувств — откусил ему нос.

Это же не моя операция, это — косметическая… Звоню Олегу:

— Что есть силы беги сюда!

Он прилетел тут же, посмотрел и говорит:

— Не приживется.

— Ну, хоть попробуй.

Столько он возился с этим носом… В перекиси черноту отмыл, продезинфицировал. Нос стал белый… А потом стал пришивать. Позвонил, чтобы ему принесли микроскопические иглы, и так быстро шил…

Сперва было покраснение, отек… А через два дня прохожу и вижу — мужчина в зеркало смотрится:

— Такого красивого носа у меня никогда не было.

— Лидия Николаевна, а у вас получалось собираться всей семьей?

— Когда же? Сперва я училась в институте, потом начались приемы — как уже говорила, до самой ночи. Санитарки вымоют полы и принесут ключи: «Лидия Николаевна, закроете поликлинику…». Никому из больных не отказывала. Только спросишь порой:

— Да что ж вы пришли к полуночи?

— А я знаю, что вы еще в кабинете. Пришел домой, искупался, поужинал. Потом думаю — дай, схожу к доктору. Ухо плоховато слышит.

— Давно?

— Года два уже…

И Олег такой же. Безотказный. Работает быстро, красиво. И те, кого он оперировал, для него уже — как родные. В День медика с утра звонят:

— Олега бы Викторовича к телефону… Поздравить…

Он ведь, если кому-то плохо — все бросает и бежит. И страждущие, чуть заболит — к нему. И таких — весь город.

Я уже несколько лет на пенсии. Кажется — что теперь за заботы? Отдыхай… А мне ночами снятся больные, тяжелые случаи, которые были у меня за пятьдесят лет… Просыпаюсь…

Я всегда уходила в работу с головой. Только так забывала обо всем плохом, трудном, что было в моей жизни. Переступала порог операционной — и весь мир переставал для меня существовать. И Олега так же учила. Для нас истина — слова Симонова:

Да, мне трудно уехать. Душою кривить не годится.
Но работа опять выручает меня, как всегда.
Человек выживает, когда он умеет трудиться.
Так умелых пловцов на поверхности держит вода.

Обыкновенное чудо

Весенний солнечный день. Мы — ученики начальной школы, обычно в такое время томимся: вырваться бы с уроков пораньше, в зелень двора…

Но вместо обычного урока сегодня — чудо.

Чудо являет юноша Олег — черноволосый и черноглазый.

Он рассказывает о средневековых монахах и показывает то, чем они зачаровывали и уверяли в своём могуществе поселян: сливает прозрачные жидкости из разных пробирок — а получается на вид — всамделишнее белоснежное молоко.

— А что крестьяне? — торопится Серёжка Шуваткин с первой парты.

— Крестьяне? — задумывается на миг юноша, — думаю, они очень радовались…

Звонок.

Но навсегда остается память: черноволосый юноша — и чудо.

Прошли годы, и в нашей семье случилась беда.

Маму здоровой не помню. И страх за неё был всегда. Я ещё девочкой была, она будила ночью:

— Что-то мне с сердцем нехорошо. И страшно. Посиди со мной.

Эта тревога за самого любимого человека сопровождала нас с сестрой всю жизнь. И не было случая, чтобы мы не вызвали маме врача, когда она недомогала.

Но медики вовремя не распознали ничего! И лишь когда с приступом вроде бы — банальной желчекаменной болезни — маму увезли в лечебницу соседнего, крупного города, там уже определили… Тот диагноз, который произносят шёпотом, и больному не сообщают.

Мы с Ольгой как собаки, сидели трое суток под дверью реанимации, каждого выходящего хватали за край халата:

— Жива?

Позже не отходили от маминой постели. О чём можно было думать, когда будущее определялось делениями градусника….

Начнутся ли осложнения? Не скажут ли нам: «Безнадёжна…»

Несколько месяцев спустя, когда маму привезли уже домой, мы не знали: что сделать, чтобы болезнь не вернулась?

И тогда фотокорреспондент нашей газеты Андрей Наронский подкинул мысль:

— Выписали? Дома? Так позвоните Олегу Никифорову. (С придыханием) Врач — от Бога! Он обязательно посоветует что-то

дельное… Только это… он такой серьёзный! Вещь в себе. Ещё в юности, когда мы все гуляли, — уже работал медбратом. Я ж говорю, он — от Бога!

Помню первый приход Олега к нам.

На меня сама тема разговора наводит холодный ужас, и я слушаю почти из-за двери.

Ольга много смелее. Она расспрашивает о диете, витаминах. О ядах: болиголове, аконите — в тот момент были готовы на всё.

Олег не опровергает:

— Я уже столько слышал от больных, чем они лечились, и что помогло реально… Меня трудно чем-либо удивить.

— Вы же работали онкологом. Ушли — потому что тяжело?

— Тяжело. Хирург прооперировал, довёл до выписки — и больше не видит этих людей. Две трети из них живут нормально. А оставшаяся треть…

Приходилось навещать тех, кто безнадёжен. Находить ободряющие слова:

— Да что, Пётр Иванович, поправитесь… Да всё у вас будет хорошо…

Тяжело врать. Каждого — жалко.

Но только такому врачу, которому ты — не безразличен — и решишься доверить жизнь.

Прошло больше года. И одно из тех осложнений, которых боялись врачи, у мамы всё-таки случилось.

Бок набухал. Опасным воспалением выглядело это на наш встревоженный дилетантский взгляд.

Не миновать было — звонить Олегу. Работа для хирурга.

Быстро он сделал всё необходимое. И — месяцы ещё, рана заживала трудно — ездил на перевязки. Не забывал никогда. Приезжал поздно вечером, после операций, или днём — в редкие перерывы. Был считанные минуты — у нас хватало совести всё подготовить заранее, держать наготове, весь перевязочный материал… Потому что после нас — его ждали многие и многие…

Он никогда не открывался сразу весь, со всеми своими достоинствами. Сразу вы, пожалуй, могли почувствовать в нём только великолепного врача, способного ответить на любой ваш вопрос.

Человеческое же замечалось позже.

И нужно было присматриваться. Потому что никогда не стремился он щегольнуть, поразить. Добро делал исподволь,

стараясь не привлекать внимания. Так бывает с сурово-благородными натурами, неспособными хвалить себя.

Только иногда, моментами прорывалось….

Скупой — к случаю — рассказ о подобранной и выхаживаемой вороне…

Вскользь сказанное, что так и не научился: не волноваться — за больных, посылая их на обследования: вдруг что-то обнаружится…

Лекарства, которые столько раз привозил сам — не только не думая продать их больным подороже, но — просто оставляя: «Берите, у меня есть»…

Та самая великая любовь к ближнему, которой большинству из нас не дано.

Пациенты — среди которых было много стариков, — старались отблагодарить хоть как-то: пирожки, мёд… Не взять этого было невозможно. Ему давали уже как сыну, как родному.

И то, что клали в его старинный саквояж (тоже чей-то подарок) — он отдавал в другом доме, если там были дети, или просто имелся повод угостить.

Он говорил мало. Но всегда умел слушать — не торопя, что так редко среди нынешних врачей. Если же вам, несмотря на недуг, удавалась фраза — получалось сказать весело, он сразу улавливал юмор.

И сквозь всю его серьёзность — вдруг неожиданно прорвавшийся, совершенно мальчишеский смех…

Был в нашей жизни второй такой же страшный период, как и с маминой операцией. Вспомнишь — и прикроешь глаза. Нельзя вспоминать. Как будто стоишь над горящим домом.

Дочка моя, Аська, пришла из школы после субботника — ученики подметали листья на улице. И начала жаловаться — сразу:

— Мне трудно дышать.

Надо знать Аську. Воробей — заморыш.

…В тот же день, случайно перехватив на улице нашу детскую участковую докторшу, я привела её к нам. И услышала, что ничего страшного нет — в лёгких у ребёнка чисто.

Но врач ушла, Аське же становилось хуже на глазах. Ночью её дыхание стало трудным и частым, а кашляла она уже с кровью.

Забежав к нам перед службой, врач пришла в ужас:

— Господи, как она у вас потяжелела за несколько часов!

Она не решалась уйти, колебалась: вызвать ли местную скорую, или сразу «санавиацию» из областного центра.

— Звони Олегу Викторовичу! — это уже мама на грани паники.

Я не помню, когда появился Олег, но и он, и участковая наша были в комнате одновременно.

Помню их тихий разговор — двух врачей — не для наших ушей.

— Почему девочка ещё здесь, а не в больнице? — спрашивал Олег.

— Родители отказываются.

— В какой дозе вы назначили…? Вы считаете, что этого достаточно? Сейчас, подождите…

И уже в коридоре, торопясь, Олег, с улыбкой, почти виноватой, что приходится говорить такое:

— Двустороннее воспаление легких. Тяжёлое.

Лекарства он привёз сам. Из табуретки и лыжной палки в несколько секунд соорудил капельницу.

Доктор наша только ахала, слушая хруст ампул, щурясь, читая названия на них, пустых уже, бросаемых в лоток.

— Боже, какой он смелый!..

Эти несколько дней сейчас слились в памяти. Мы просто ловили каждый Аськин вздох.

Едва ей стало лучше, Олег отвёз её в свою хирургию, где сделали снимок, взяли кровь и подтвердили: и диагноз, и тяжесть болезни.

И по сегодняшний день я уверена, что в больнице нашей, и даже в областной — положительный исход не был бы настолько предрешён, возьмись за Аську — другой доктор. Что жизнью своей дочка обязана Олегу Никифорову.

Только он, по дороге в больницу — едем брать кровь, мог остановить машину у аптеки и купить дорогой ингалятор.

В руки нам — коробку.

— Пользуйтесь. Потом, если мне надо будет (чтобы приняли подарок) — я у вас его возьму… Благодаря такому прибору — мои сыновья не стали хрониками.

Удивительная, бесконечная доброта в нём так же удивительно маскировалась — сдержанностью. Никогда не нежничал, не сюсюкал, завоёвывая восторг и любовь пациентов

другим: быстротой исцеления.

В последние месяцы у нас часто отключают свет. Мы неизбалованы: переползали через сугробы во время снежных заносов, скупили плитки, когда был Большой Прорыв, и город в двадцатиградусный мороз остался без тепла, а уж свет…

Но одно дело, когда ты печатаешь на компьютере, и вдруг… твою маму, ёшкин кот… экран меркнет…

Вспомнишь ты, вспомнят твои коллеги — даже те нехорошие слова, которые знали, да подзабыли.

Но когда твоему выползающему с того света ребёнку должны поставить очередную капельницу, а электрики чего-то там мудрят…

Ожидая с минуты на минуты доктора, я сломя голову бегу в хозяйственный магазин за свечкой. Возвращаюсь, на улице — вселенская тьма, дома — она же, лишь в комнате, где лежит Аська, — пятно света. Держа в одной руке фонарик, в другой гибкую трубку с иглой на конце, Олег прижимает к уху сотовый и уже кого-то консультирует по телефону:

— Да… через четверть часа освобожусь. Я тут… добрый доктор Айболит… детишек лечу… Что? Послушай, если так — лучше в больницу. Такой маленький ребёнок, такая температура! Проверишь, успокоишься, и тогда…

Это слово — спокойствие, и было доминантой в отношениях с Олегом Никифоровым.

Он приходил в очередной смятенный дом, где навстречу — полные страха глаза — что? Очень плохо?

И тревога, если не уходила совсем, то отступала, уступала его уверенности и тому спокойствию, которое он дарил вам одним своим присутствием.

Сам он позже признавался, что испытывает это чувство очень редко. Но его пациенты…

Они уверялись сразу в том, что всё будет сделано наилучшим образом, единственно верно, что ничего не будет упущено.

Все наши встречи — из разряда «не дай Бог». Когда болезнь нетяжела и привычна, мы так же привычно справляемся с лечением сами.

Но если есть угроза… И поэтому первый его отклик по телефону, раньше даже приветствия:

— Что случилось?

И в тот же день: раньше — после работы, или позже, совсем в ночь — если задержали операции, он появляется:

— Прошу прощения, мне оставили нынче все аппендициты…

Привычно ли ему это настолько, что уже не посещает мысль — вот, ещё несколько жизней продлятся благодаря ему? И будут у людей «завтра», и «послезавтра», и двадцать лет спустя.

Это уже вроде бы никому не в чудо. И всё-таки это — чудо. Чудо, сотворенное Врачом и Человеком.